

Б И Б Л И О Т Е К А

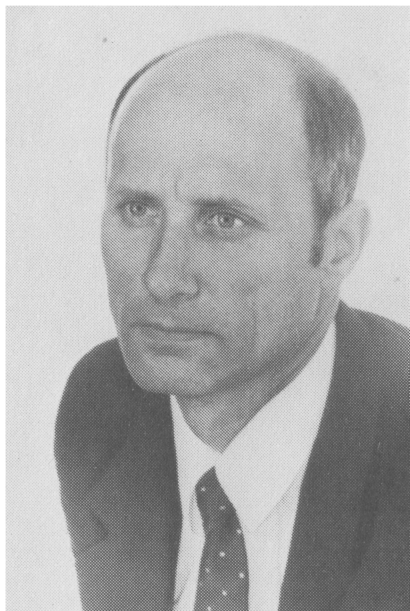
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 12

1989



Руслан КИРЕЕВ

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

ГОД ЛЕБЕДЕЙ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 12

Издается с января месяца 1925 года

Руслан КИРЕЕВ

ГОД ЛЕБЕДЕЙ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1989

Руслан КИРЕЕВ

Руслан Тимофеевич Киреев родился в 1941 году в Узбекистане. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького.

Первую книжку издал в 1962 году. Это был сборник стихов. Как прозаик дебютировал в 1965 году в «Новом мире». Автор более двадцати книг.

Произведения Р. Киреева публиковались в «Правде», «Огоньке», «Октябре», «Знамени», «Дружбе народов», «Юности» и других изданиях. Автор ряда работ о Чехове, Пушкине, А. Толстом, Сервантесе, Стерне... Активно выступает как публицист.

ГОД ЛЕБЕДЕЙ

Помимо пляжа, который некогда назывался Золотым, помимо знаменитых лиманов, помимо старой турецкой бани и античных руин в центре города — словом, помимо всех этих чудес, о которых мне уже приводилось писать, Витта славится еще своими чебуреками. Но не теми, что жарят неподалеку от рынка и тут же, на рынке, продают в огромных эмалированных тазах, прикрытых клеенкой. Это кушанье скверное. Настоящими чебуреками вас угостят в кафе «Бриз», ничем не примечательной на вид типовой стекляшке возле морского вокзала. На ваших глазах выловит их из котла тучная раздатчица, шлепнет, не считая, в мокрую тарелку.

— Кушайте на здоровье!

Чебуреки лежат, раздувшись, как диковинные рыбы, живые еще, огненные (пузырьки масла лопаются), и золотистые бока их медленно опадают. Ровно полдюжины — глаз у раздатчицы точен.

Все, даже зеленые юнцы, зовут ее Ниночкой.

— Салют, Ниночка! Как чебуреки сегодня?

— Ничего, — охотно отвечает она. — Вкусные. — И по тому, как говорится это, вы чувствуете: правда вкусные.

Живет она вдвоем с матерью, крепкой, широкой кости старухой, охраняющей по ночам пляж. Перемахнуть через невысокий забор — влюбленным ли, хмельной компании, просто охотникам до ночных купаний — раз плюнуть, но сторож Мария Поликарповна тут как тут. Переваливаясь, точно утка, шкандыбает по вязкому песку и свистит, свистит в милицейскую свою свистульку.

Бывает, Мочалки цапаются друг с дружкой (это у них фамилия такая: Мочалко), но быстро мирятся, и так из месяца в месяц, из года в год. *Дочки-матери* зовут их во дворе с легкой руки дяди Семена, что с утра до вечера сидит у ворот, с комфортом уложив на скамейку большую ногу. Вернее, протез.

Не их одних, впрочем, зовут так — есть еще парочки. Бобковы, Анна и Алла, обе длинные, обе худые, со спины не разобрать, кто мать, кто дочь, да и имена, как нарочно, схожие. Мудрено ли, что люди путают? Мать работает в автопарке, и не диспетчером там каким-нибудь, не бух-

галтером, а главным инженером. Шоферня уважает ее. Зато дочь, книжная барышня (библиотечный техникум окончила), не признает ее совершенно. Мать — слово, она в ответ — пять. Или, наоборот, сидит, рта не раскрывает, слушает все, слушает, потом — шарах на пол что под руку попадется.

А вот Кошелевы, тоже дочки-матери, живут душа в душу. Тут уж имен никто не путает. Сгорбленная, быстрая, похожая на белочку Зинаида нарекла свое детище Евой, и та лезет из кожи вон, чтобы этому нежному имени соответствовать. Встает поздно, расхаживает по двору в стеганом халатике, звонкоголосо приветствуя соседей, и лишь при виде дяди Семена белое личико ее каменеет. Не столько, впрочем, насмешливых его глаз боится, сколько зловещей, в огромном ботинке, ноги. Словно пушка поворачивается следом за ней эта безукоризненно прямая нога, и когда-нибудь, со страхом ожидает бедняжка, когда-нибудь этот ужасный ствол выстрелит.

Никто во дворе понятия не имеет, где работает Ева (и работает ли), зато все знают, что мать ее вкалывает истопником в санатории, уборщицей и еще — во время сезона — билетершей на танцплощадке, куда — были времена! — дочь напропалую водила своих длинноволосых дружков. Зря водила! Как говорил дядя Семен, имелась Ева, но не было Адама. И когда лет пять назад во дворе появился в качестве нового жильца некто Вольдемар, многие подумали про себя (а дядя Семен и вслух сказал), что вот он наконец долгожданный, хотя и несколько побитрепавшийся, не первой молодости принц.

На нем была шляпа, длиннополый, вышедший из моды плащ и алый шарф. Под мышкой он держал гуся. Белого... Подняв руку, приветствовал дядю Семена — тот благосклонно, как доброму знакомому, наклонил в ответ голову. Во двор же тем временем осторожно просовывался грузовик с вещами.

Ворота были узкими, а грузовик широким; человек с гусем показывал жестами, правой ли держать, левой, и по тому, как он делал это, чувствовалось, что в автомобильном деле он смылит.

В кузове среди шкафов, столов и прочей мебели стояло пианино. Интеллигентная семья въезжала во двор... (Чего о съехавшей сказать было нельзя.)

Рядом с шофером сидела пожилая дама. Выйдя из машины, она аккуратно поставила на землю белую собачонку.

— Сидеть, Дима!

Песик, однако, сидеть не хотелось. Оглядевшись, с писклявым лаем бросился и — на кого? На человека, которым гордился двор. Которого сама Екатерина Болеславна, мать Вольдемара, хозяйка взбеленившейся собачки, признавала (уже после) единственным достойным собеседником.

Возможно, от него веяло каким-нибудь специфическим запахом (Олег Васильевич Галкин заведовал аптекой). А возможно, у животного

просто сдали нервы. Машина, новый двор, новые люди, среди которых Олег Васильевич выделялся борцовской монументальностью (когда-то он и впрямь занимался борьбой), — вот и осатанела собака.

— Как ты ведешь себя, Дмитрий? — возмутилась Екатерина Болеславна.

На ней были черные перчатки («Как у артистки», — заметил кто-то), а голос ее, негромкий и не по возрасту молодой, показался кое-кому знакомым. Вспомнили: по пляжному радио звучит он, сразу после мелодичных позывных городской биоклиматической станции. Атмосферное давление, температура воды и температура воздуха, продолжительность солнечных ванн...

Вольдемар боготворил мать. Не оттого ли, рассудил народ, и холост до сих пор? Холост, да и теперь уж вряд ли женится, староват — пятый десяток разменял! — но вдруг? Вдруг! Для иных староват, а для Евы или, скажем, Бобковой младшей (то ли Аллы, то ли Анны — библиотекарши, словом) самый раз.

— Две такие невесты во дворе! — сокрушался дядя Семен, и хоть бы кто возразил ему, хоть бы кто напомнил о третьей невесте, Нине Мочалко! А между тем именно она, Нина Мочалко, златозубая толстуха, от которой за версту несло чебуречным духом, сделалась объектом мужского внимания разборчивого сына Екатерины Болеславны.

Началось все с гуся. С того самого белого гуся, что держал под мышкой Вольдемар при первом своем появлении. И который на позерку оказался не гусем, а лебедем.

Двору об этом объявила Нина.

— Да какой же это гусь! — сказала она с одышкой. — Не гусь это вовсе. Лебедь. Самый настоящий лебедь.

И тут все сразу же разглядели: точно лебедь! Удивились даже, как сами-то не сообразили. Как спутать могли... Столько ведь лебедей переживали за нынешнюю кошмарную зиму.

Да, зима для наших мест выдалась суровой. Не только мои ровесники, но и ровесники дяди Семена не помнили такой. Поликарповна, правда, утверждала, что до войны нечто подобное было — и снегу навалило, и море сковало у берегов, и погибли сады с виноградниками, но лебеди... Нет, лебеди не прилетали. Вообще на море — а она как-никак прожила тут семьдесят лет! — видит их впервые. Да еще столько! Полчища целые! И все ведь разом нагрянули, в одну ночь... Проснулся как-то февральским утром курортный городок Витта, глянул на море и обомлел: воды не видать от белых птиц. (Не чаяк — те поверху кружились, напуганные грозным вторжением.)

— Лебеди! — пронеслось по городу. — Лебеди прилетели.

Люди не верили. Какие еще лебеди? В соленой-то воде! Зимой! То-

ропливо на набережную шли и убеждались собственными глазами: они, красавцы. Они! Но откуда?

А с Лебединого озера, что в сотне километров от Витты. Никогда не замерзало сплошь, а тут замерзло, вот и снялись птицы в поисках живой воды. Снялись и полетели, и воду такую нашли.

Вначале пугались людей, но скоро привыкли. Прямо из рук брали угощение — неумело, правда, не как, скажем, собака, чье деликатное касание ласкает ладонь. Красные клювы, холодные и твердые, хватили хлеб жестко и, случалось, больно прищипывали.

Словом, пернатые гости не голодали, но что пили они? Да, что пили? Не соленую же воду... Вопрос этот мало кому приходил в голову, но кое-кому приходил, и вот некий энтузиаст приволок на берег старую, с прогнутыми боками лохань. Наполнил ее пресной водой, причем подогретой — парок шел, а поскольку глупые птицы артачились, подгонял их, как стадо гусей, хворостиной.

Среди зрителей, что растроганно наблюдали эту сцену, была и Нина Мочалко. Озябший энтузиаст в фасонистой шляпе запомнился ей, и спустя два месяца она сразу узнала его в новом жильце с лебедем под мышкой.

— Он поил их зимой! Из корыта.

Вольдемар с любопытством оборотил к ней свое благородное лицо. Шляпу приподнял... Нина радостно заулыбалась в ответ.

— Живите, — выдохнула она, — на здоровьице!

Остальные глядели настороженно. Не нравилась им что-то ни эта слишком уж интеллигентная дама с театральным голосом, ни шавка ее, ни белокрылый Гомер. (Птица, которую доверчивый двор принял было за гуся, звалась Гомером.)

От шавки больше всех страдал фармацевт Олег Васильевич. Злобное насекомое это (так в сердцах окрестил Галкин собачку новых жильцов) бросалось на него с такой яростью, с таким самозабвенным героизмом, что аптекарь невольно замирал и на высоком челе его выступала испарина. Обойти же стороной квартиру Екатерины Болеславны не мог, поскольку располагалась она как раз на пути в дворový туалет. Приходилось общественным пользоваться, за квартал от дома.

В конце концов Олег Васильевич не выдержал. Начистоту решил он поговорить с Вольдемаром. Как мужчина с мужчиной. Как интеллигент с интеллигентом.

С этого и начал.

— Вы интеллигентный человек, — сказал он проникновенно, — вы поймете меня. Я люблю животных, у меня у самого жила черепаха, но ваша собачка... Вы понимаете меня?

Он страдал и смущался. А Вольдемар, сосредоточившись вдруг, втянул носом воздух.

Фармацевт тоже приныхался. Стоял май месяц, хозяйки давно уже

стряпали на улице, и во дворе благоухало то жареной рыбой, то тушеным картофелем.

— Вы, кажется, со спиртом работаете? — небрежно спросил сын бывшей актрисы. (Во дворе упорно ходили слухи, что в молодости Екатерина Болеславна выступала на сцене.)

Галкин приставил ладонь к уху. Но нет, на сей раз слух не подвел его. Именно о спирте спрашивал сосед — о нем самом.

Теперь и Олег Васильевич уловил характерный запах. Исходил он, безусловно, от Вольдемара, но Вольдемар полагал иначе. Он настаивал, что это дают знать о себе лекарства, которые готовит в своей аптеке Олег Васильевич.

— Я не готовлю лекарств! — неожиданно горячась, отрезал Галкин.

— А что же вы там делаете? — удивился хозяин мерзкого пса. — Ах, да, руководите. Но запах спирта вездесущ, как запах эфира. — Последние слова он произнес чуть нараспев. (Вот так же, настанет час, он будет декламировать стихи зачарованной Нине.) — Строго говоря, это одно и то же.

— Как это — одно и то же? — запротестовал фармацевт. — Эфир — это эфир, а спирт — это спирт.

— Тем более, — меланхолично изрек Вольдемар. И вдруг, наклонившись, что-то зашептал в заросшее волосами ухо аптекаря.

Бывший чемпион Витты по вольной борьбе слушал, напряженно глядя в пространство. Затем как-то опасливо покосился на соседа.

— Извините. Я не понял.

Вольдемар выпрямился и как ни в чем не бывало стоял перед ним с цветочком в петлице.

— Поняли, — тихо возразил он. — Поняли... — И даже глаза прикрыл, сам как цветочек.

— Но у меня нет спирта! — не столько возмутился, сколько растерялся аптекар.

— Есть, — еще тише произнес Вольдемар Иванович. — Есть...

Разумеется, это был шантаж. Чистой воды шантаж! Или, дескать, спирту гони и пользуйся дворовой уборной сколько душе угодно, или моя собака доконает тебя.

Чем вообще занимался этот тип? На что жил? На какие, извините, шиши покупал маме цветочки? Если он и правда шофер, причем шофер экстра-класса, как с гордостью уверяла Екатерина Болеславна, то почему никто никогда не видел его за рулем?

Сам он о своем шоферстве упоминал часто, но вскользь, к слову, рассуждая, по своему обыкновению, о чем-нибудь возвышенном.

— Идешь, бывало, на Москву, трасса пуста, ночь, и на душе у тебя такая бездна...

— Что на душе? — переспрашивал дядя Семен.

— Бездна. Бездна на душе... Понимаешь, что мир бесконечен, что пройдет какой-нибудь миллион лет, и ничего не останется от тебя. Уж вы-то, дядя Семен, понимаете меня.

Наблюдатель дворовой жизни не спешил с ответом. Он знал, что предвещает эта интимная интонация. Сейчас рубчик попросит — до зарплаты, а когда у него зарплата и есть ли вообще таковая — неизвестно.

Некоторая ясность наступила в конце мая, когда море прогрелось до шестнадцати и даже семнадцати градусов. Поеживаясь, народ полез в воду...

Ни единого лебеда к этому времени не осталось на побережье. Большинство их улетело еще в марте, в первые же теплые дни, но иным столь по душе пришлось сытая городская жизнь, что они и в апреле, вплоть до майских праздников, грациозно раскачивались на легких волнах. В основном это были птицы, перемогшие самые лютые холода под человеческой кровлей. В кухнях держали их, сенах, на чердаках... Отогревали и откармливали, лечили. Иным даже накладывали шины на сломанное крыло или покалеченную лапку. А выпустив, уже здоровеньких, на волю, проводывали что ни день и, узнавая (специально краской метили!), окликали по имени.

Итак, в конце мая потеплевшее море вновь принадлежало чайкам и людям. Но всякий купающийся, как известно, потенциальный утопленник, поэтому вдоль пляжей патрулировали спасательные лодки. В одной из них и красовался голый по пояс Вольдемар Иванович. В солнцезащитных очках... В белой мягкой, мохнатой шляпе, скорей женской, чем мужской...

А дикири все прибывали и прибывали. Хозяева с радостью уступали им свое жилье, сами же ютились кто где. У Мочалок была беседка, тощие Бобковы, Анна и Алла, спали в сарае, а Вольдемар — в гамаке, благо погода стояла сухая и теплая.

И вдруг испортилась в одночасье. Набежали тучи, ветер подул, и заиграл в отдалении гром.

Но гром не разбудил Вольдемара. Не разбудил его и ветер — слегка раскачивая гамак, он лишь убаюкивал спящего в нем человека. Но вот когда на незащитное лицо пали, пробившись сквозь крону старой шелковицы, первые дождевые капли, человек удивленно открыл глаза.

Сначала он ничего не мог понять и даже неизвестно почему вспомнил давно выпущенного Гомера. (Потому, может, что Гомер, живя у них, раза два или три будил его своим тревожным криком?) Но нет, Гомер тут был ни при чем. Иными звуками наполнилась ночь, и Вольдемар, соотнеся их с холодными брызгами на лице, понял, что это звуки дождя. А комната сдана... И сарай сдан... Кухонька же, где спит мать,

так мала, что пришлось на лето убрать стол, дабы втиснулась раскладушка.

Некоторое время он лежал не шевелясь. Даже глаза прикрыл — вдруг, надеялся, все это сон и утром он пробудится как всегда под чистым небом, весь сухонький? Дождь, однако, не переставал. Он шуршал в листе над его постепенно влажнеющей головой (не совсем трезвой), он дробно позванивал о новую жесть, которой Мочалки третьего дня покрыли беседку. Хорошо им там! Сухо... Вон как храпят, знать не зная ни о каком дожде. Хотя... Открыв глаза, Вольдемар прислушался. Храп был громким и протяжным, мощным — здоровый храп здорового человека, другой же, старчески-дребезжащий, не вторил ему, как в иные ночи. Да и не мог вторить, ибо Поликарповна, вспомнил он, охраняет сегодня пляж.

Вот здесь и осенило матроса спасательной службы... Две кровати стояли в мочалкинской беседке, он видел их собственными глазами, узкие, но две, и одна из них в настоящий момент пустует, в то время как он мокнет под ночным дождичком. Глупо! Не по-людски как-то. Не по-хозяйски...

Под гамаком висели на специальных гвоздиках кеды. Он достал их, быстро натянул (кеды были еще сухи) и — айда с постелью под мышкой к светлеющей новой жестью беседке.

Храп усилился. Дождик вроде потише стал, а храп — громче. Вольдемар постоял, вслушиваясь, спросил мысленно: «Можно?» — и мысленно же ответил голосом славной Нины: «Ложись на здоровище».

Ложись так ложись. Он вошел, на ощупь расстелил свою тощую постель поверх нетронутого одеяла Поликарповны и через минуту сладко спал, а дождь бесновался снаружи, только теперь уже ему не достать было хитроумного Вольдемара.

О том, что произошло утром, разные люди рассказывали по-разному. Зинаида Кошелева, мать Евы, уже успевшая убраться в санатории, приготовившая завтрак для дочери и спешащая, расторопная белочка, на другую свою работу, утверждала, что Нина выскочила из беседки с нечеловеческим воплем. Нечеловеческим, да. Зинаида даже зажмурилась, оглушенная, и ничего больше не видела.

С этой версией не соглашался фармацевт Галкин. Какой вопль, говорил он, просто женщина слегка повысила голос. Но бывший борец был туговат на ухо, поэтому тут ему не стоит особенно доверять, а вот глазу его верить можно. Приметливый Олег Васильевич разглядел, например, что Нина была звернута в простыню, причем эта стандартных размеров простыня не прикрывала всего необъятного тела чебуречницы. Опустив глаза, целомудренный аптекарь увидел, что Нина боса. На мокрой после ночного дождика земле отпечатывались ее поразительно маленькие — при такой-то массе! — следы. Будто девочка прошлепала...

Ну а что дядя Семен, самый опытный и бесстрастный созерцатель дворовой жизни? Был ли он оглушен, как Зинаида, или смущен, как фармацевт? Спустил хотя бы с отсыревшей скамьи свою готовую выстрелить ногу? Ничего подобного. Поправив под собой детский спасательный круг, в меру надутый (так что сырость была нипочем ему), с интересом ждал, что дальше.

— На кровати! — захлебывалась Нина. — На маминой... Мужик какой-то! — Она ошалело, будто только что вынырнула из морской пучины, переводила взгляд с невозмутимого дяди Семена на потупившегося аптекаря. (Тот все не мог взять в толк, как эти изящные ножки таскают на себе добрый центнер мяса и жира.)

— Молодой? — спросил дядя Семен. — Мужик-то.

— Я почему знаю! — оскорбилась сорокашестилетняя Нина Мочалко. — Я что, разглядывала его?

Из домов выходили на шум люди — и свои, и чужие (курортники), изумленно таращились на закутанную в простыню толстую женщину.

— И что он там делает? — продолжал допрашивать дядя Семен.

— Кто? — не поняла Нина.

— Как — кто! Мужик твой.

— Чего это — мой? Я его, что ли, туда положила?

— Не ты?

Пышный бюст так весь и колыхнулся от возмущения. Простыню вырвало из рук. Еще миг, и лежать бы ей на земле, но Нина успела прижать ее локотками.

— А живой? — брякнула Зинаида Кошелева. — А то давеча один в трамвае помер. Думали — спит, будить стали, а он холодненький уже. Как тазик.

Нина туго стягивала на груди простыню. Стягивала и молчала, онемев.

— Ишь, побледнела как! — проговорил с усмешечкой дядя Семен. — Не ты ли его и ухлопала часом?

— А что? — опять же подхватила Зинаида. — У нас убила одна. Топориком.

Бедная Нина! Только-только вынырнула из пучины, а ее опять туда, головой вниз.

— Да я и не подходила к нему.

— Та тоже не подходила, — протараторила мать Евы. — Он — за борщ, борщом хотел ее — на плите, кастрюля целая, а она раз топорилом. Маленький такой, остренький, сам наточил.

Шум разбудил Вольдемара, и он, живой и невредимый, совсем даже не покойничек, вышел глянуть, что вдруг за суматоха такая. Из-за чего?

Народ смолк. Дядя Семен с удовлетворением погладил ногу (будто нога эта наконец пальнула), а Нина опять едва не упустила простыню. Вольдемар сказал:

— Доброе утро,— и посмотрел, задрал голову, на синее небо.— А дождь-то кончился,— удивился он.

Двумя часами позже он явился во двор с букетом алых маков.
— Это ты кому же?— осведомился дядя Семен и, сообразив, кивнул со значением на стирающую у беседки Нину.— Невесте своей?
— Ей самой,— не стал отпираться ночной визитер.— Компенсация за моральный ущерб. Ау, невестушка!

Нина выпрямилась.

— Чего, женишок?— сказала она с одышкой.

Подняв над головой букет — точно не букет это был, а зная, — сын Екатерины Болеславны неспешно пересек двор и опустился, рыцарь, на колено. (Одно. Левое.) Нина, вытерев руки, взяла цветы, к лицу поднесла и долго нюхала, закатив глаза. Оказавшаяся поблизости Анна (или Алла; та, что в библиотеке работала) негромко зааплодировала.

С этого дня они звали друг друга не иначе, как женишок и невеста. На виду у всего двора ухаживал за ней, ухаживал с размахом, с таким вольдемаровским шиком (однажды подарил, например, целых три порции мороженого), и она, задыхаясь и похохатывая, золотыми блестя зубами, благосклонно эти ухаживания принимала.

— Не угодно ли на гондоле прокатиться?— публично пригласил он. На что она:

— Угодно!

Хотя Вольдемар, сказать по совести, сомневался, знает ли она вообще иностранное слово.

Свою спасательную лодку подразумевал он, утлое суденышко, едва не опрокинувшееся под ее грузным телом.

На ней был ярко-желтый, с синими узорами сарафан, темные очки и медальон на тонкой цепочке.

— Чей же это портрет вы носите на груди, мадам?— полюбопытствовал он, с прохладцей работая веслами.

— Неважно,— игриво уклонилась она от ответа.

— Кому неважно,— возразил он,— а кому важно. И даже весьма.

Аккуратно положив на борта весла, достал из-под сиденья фляжку, ловко наполнил пластмассовый стаканчик.

— Прошу!

Палило солнце, у берега в мутной воде барахтались люди, а они были по эту сторону красного буйка, совсем одни, на воде прозрачной, как в том лебедином озере, и глубоко под ними проплывали, распуская щупальца, голубые медузы.

Так воочию познакомилась она с его работой, доблестной работой матроса-спасателя. Что же касается ее работы, то он созерцал ее часто.

Уже говорил, что чебуреки, которые жарили в кафе «Бриз», славились на все побережье. Каждый, кто приезжал в Витту, считал своим долгом отведать их, поэтому очередь выстаивалась задолго до откры-

тия кафе и не рассасывалась, пока Нина не кричала из раздаточного окна:

— Не занимать! Чебуреки кончаются.

Но люди все равно занимали, все равно ждали, все равно надеялись. Вытянув шею, заглядывали в чан, где в кипящем жиру золотились пузатые рыбины. Так что можете представить себе, какими взглядами обжигали тех, кто брал по нескольку порций. Какие слова произносили мысленно по их адресу.

Но это мысленно. А если паче чаяния находился смельчак, который норовил влезть без очереди, то здесь уж давался отпор вслух, дружно и яростно.

Тем не менее такой смельчак находился. Им был женишок Нины, бронзоволицый Вольдемар. Неспешно подходил он к раздаточному окну, останавливался молча, но его тут и без слов примечали. Выловив шумовой полдюжины чебуреков, подавали через головы томящихся в ожидании. Вольдемар интимно прикрывал глаза. Какой уж тут отпор! Все всё понимали.

Случалось, однако, очередь бунтовала. Это если валяжный нахал, в котором кое-кто признавал матроса спасательной службы, выразительно подымал вверх два, три или даже четыре пальца. В тот же миг соответствующее число порций уплывало в его ненасытные руки.

— Забронировано, — не поворачивая головы, цедил с ослепительной улыбкой пират.

Денежки, впрочем, за все платил, копейка в копейку. Вот только порция, которую сам съедал, шла по традиции бесплатно.

— Могу же я угостить женишка! — резвилась Нина.

— Можешь, — томно соглашался сын Екатерины Болеславны. — Можешь...

Он ведь тоже угощал ее — то персиками, иногда вполне даже спелыми, то миндалем, то фирменным напитком в театральном буфете. Последнее, правда, имело место всего раз, ибо всего раз ходили совместно в театр, но поход этот помнили во дворе долго.

Он вырядился в белый костюм, давно уже немодный, ветхонький, но по-прежнему эффектный (да еще цветок в петлице), а она надела черное платье с вырезом на груди. Прежде его никто не видел, что дало основание дяде Семену заподозрить: уж не специально ли к сегодняшнему торжеству сшито оно? Поведя накрашенными глазами (и глаза вроде бы прежде не красила), Нина протараторила:

— Конечно, специально! Женишок, чай, пригласил.

Весь двор высыпал поглазеть на редкое зрелище. Под руку взял он ее (она далеко оттопырила белый локоть), и под общий хохот торжественно прошествовали к воротам. Следом, крича что-то, бежали дети.

Они и в театре вели себя так, словно за ними наблюдали, подбочившись, остроглазые соседи.

— Не угодно ли напитка? — предлагал он, и она отвечала, хохотнув:

— Угодно.

На толстой шее бренчал крупный, золотистый, как чебуреки, янтарь.

Места у них были неудобными — что у него, что у нее, но он, галантный кавалер, все равно предложил поменяться. Нина глянула на узкий проход между рядами и — отказалась.

— Застряну, чего доброго!

Так играли и забавлялись они, но свет погас, но раздвинулся занавес, и взгляды всех устремились на сцену.

Пьеса была про любовь. Про пылкую и доверчивую девушку, которую обманул гнусный тип. И Нина, и Вольдемар раскусили его, конечно, сразу, а вот героиня, ослепленная любовью, ничего не замечала. «Видишь, — шептала она подруге, — ту вон звездочку? Мне кажется, она смотрит на нас».

Нина переживала. И чем сильнее переживала она, тем громче сопела. Вольдемар хмурил брови.

Из театра вышли в полном молчании. Луны не было, фонари горели через два на третий (в городе экономии электричество), поэтому звезды на черном небе сияли как-то особенно ярко.

— А ведь правда кажется, что они смотрят, — произнесла Нина.

Вольдемар гмыкнул.

— Иллюзия. Как и вся наша брeнная жизнь. Две крохотные точки, затерявшиеся в бездне мироздания. — Ему нравилось слово «бездна».

— Почему две? — Голос ее был чутько хрипловат — видимо, от пережитого в театре волнения.

— Ты да я. А вокруг ни души.

— Чего это ни души? Вон, — кивнула она на лавочку.

— Думаешь, они замечают нас? — подивился ее наивности Вольдемар. — Хо-хо! Мы не существуем для них. Они сами по себе, мы сами, а вокруг — бездна. Человек одинок, Ниночка. О, как одинок человек! А где-то, представь себе, растут пальмы.

— Пальмы?

— Ну да, пальмы. Чего ты удивляешься? Стройные пальмы высотой с пятиэтажный дом. — Он помолчал и прибавил задумчиво: — Тигры ходят...

Нина вздрогнула.

— Ты что? — спросил он. — Замерзла? — И давай было расстегивать легкий свой пиджачишко, но она:

— Нет-нет! Не надо. Просто, — призналась она, — страшно как-то.

Он усмехнулся. Тигров, стало быть, испугалась, и зря! От всех хищников мог бы он защитить... Про знакомого тигролова стал рассказывать: во парень, шестнадцать кружек пива выпивал, а на груди — такой вот тигрище... Вольдемар растопырил в темноте руки.

— Как на груди? — спросила Нина изменившимся голосом.

— Обыкновенно. На груди. Пасть оскалил, клыки торчат... Татуировка. — Он иронически глянул на свою спутницу. — А ты что же думаешь? Живой?

— Мало ли, — ответила она.

Качнув головой, Вольдемар полез за сигаретами.

— Ну, женщины! — проговорил он не то с удивлением, не то с восхищением. — Ну и женщины!

Нина, зардевшись, старательно поправила тяжелые бусы.

— Да уж с нами не соскучишься!

Скоро они вернулись домой, распрощались у гамака («Спокойной ночи, невестушка!» «Спокойной ночи, женишок!»), но, кажется, это была первая ночь, когда в беседке так и не раздался до самого утра грузный храп чебуречницы.

Сколько времени длился спектакль, который смотрел Вольдемар и Нина? Ну, два с половиной, ну, три часа... Тот же, что разыгрывали они сами на глазах у веселившегося двора, тянулся, ко всеобщему удовольствию, много дольше.

Дядя Семен пророчествовал, что скоро дочек-матерей станет на парочку меньше.

— Мочалка-то наша, а? — поддразнивал он Еву. — Заграбастала Адама твоего.

— Он такой же мой, как ваш, — парировала дочь Зинаиды, косясь на страшную, нацеленную на нее ногу.

— Это верно, — покладисто соглашался наблюдатель дворовой жизни. — Но мне он ни к чему как-то...

— Мне тоже. — Голосок ее обидчиво звенел.

— И тебе? — удивлялся старик. — Что ж, лучше, по-твоему, в дочках-матерях сидеть?

Ева злилась на себя, на свою бесхарактерность злилась. На то, что не умела поставить себя, как поставила, например, Бобкова-младшая (то ли Анна, то ли Алла). Дядя Семен и с той ведь пытался завести душевный разговор, что-то такое о дочках-матерях ляпнул, но библиотекаря приоткрыла свой интеллигентный ротик да — матом его. Наблюдатель крякнул, озадаченно в затылке почесал и — ничего.

— Нервничает, — сказал, — девица.

И правда... То ли летние перегрузки сказывались (а кто в курортном городе не испытывает их?), то ли раздражала комедия, которую ломали эти немолодые голубки, но только не проходило, кажется, дня, чтобы из сарая Бобковых, где мать с дочерью спали валетом, не доносилось приглушенной перепалки. Бу-бу-бу, бу-бу-бу — и вдруг — бац! — на пол что-то. Со звоном... (Пол в сарае был деревянный, так что акустика получалась что надо.)

— Не могут до осени обождать,— порицал дядя Семен.— Дышать негде, а они ругаются!

Когда же падало что-то более крупное, нежели вилка (но такое же на слух твердое), произносил меланхолично:

— М-да! Одна другую с кровати спихнула.

Но если проживающих во дворе дочек-матерей шутейный роман Вольдемара и Нины явно раздражал, то фармацевту Галкину он, безусловно, был на руку. Нет, совсем в покое зловредный пес не оставил его — и подстерегал, и налетал с писклявым лаем, и хватал острыми зубками за тренировочные штаны, но случилось это теперь гораздо реже. И по два, и по три дня кряду пользовался аптекарь — совершенно беспрепятственно — дворовой уборной.

То были дни, когда сын Екатерины Болеславны находился в ударе. Таскал цветы своей даме, пел серенады («О, изумруд души моей!») и попутно угощал семечками. Гордо держал за шершавый, сочный еще стебель огромный подсолнух, мохнато-желтый посередке, и они на пару, как две гигантские птицы, колупали его каждый со своей стороны.

К тому времени Вольдемар по неизвестным причинам оставил спасательную службу («Завязал с морем»,— говорил он) и с утра до вечера ошивался в чебуречной. Нина через день работала, но ее сменщица тоже знала его и тоже давала без очереди по три, по четыре, по пять порций. По пять!

— Друзья,— беспомощно разводил руками Вольдемар.— Экзюпери говорил: лучшее, что мы имеем, это человеческое общение.

— Кто говорил?— переспрашивал, поглаживая ногу, дядя Семен.

— Экзюпери. Летчик такой. Там, где летал Экзюпери,— тянул он на тот же примерно мотив, что и изумрудные свои серенады.

— Ты знал его?

— Я?— тыкал себя в грудь бывший матрос спасательной службы.— Нет... Мы с ним не были знакомы.— Но произносил это таким тоном, что все понимали: скромничает мужик!

Мария Поликарповна, мать Нины, так не считала.

— Брешет он все,— скрипела она.— А они уши развесили.

Они... Но прошло время, и туманное «они» сменилось конкретным, жестким в своей определенности, презрительным «она».

— Ему бы повинокобениваться только, а она-то, она-то хвост распустила! Дура толстозадая!

— Ты это о ком, мама?— грозно вопрошала Нина.

— Знаю — о ком. Лебедем ходит... А он лебедя-то, небось, общипал, да на базар его. За гуся...— Поликарповна раздраженно шаркала но-

гами.— Когда это на базаре столько гусей было? А здесь — за десяточку. Ишь, раздешевились!

Давно уже улетели лебеди из Витты, давно утихли чудовищные слухи, будто какие-то мерзавцы отлавливали их по ночам (здоровую да жирную птицу не унесешь ведь домой среди бела дня; сразу спросят — зачем? Вон, скажут, хворых сколько!) — давно уже все забыли об этом, а мамаша — на тебе, вспомнила.

Это был, конечно, навет дикий. Нина не выдержала.

— Да он, если хочешь знать, спасал их. Он им воду таскал.

— Воду! — передразнивала мать. — Воды в море, видите ли, нет!

— До чего ж ты глупая! — ужаснулась дочь. — В море какая вода?

— Вода как вода.

Нина стукнула себя кулаком по лбу.

— Во! — задохнулась она. — Во! — И объяснила: — Соленая. Ясно тебе, соленая!

— Не знаю, — упрямылась старуха. — Не пробовала.

— А ты попробуй, попробуй! Хотела бы я видеть, как ты будешь пить ее.

— Чего это мне пить ее? У меня чай есть.

— А у них, — напоминала Нина, — нету чая. Ни чая, ни кофе.

— У кого у них? — с любопытством оборачивала мать свое задубевшее лицо.

— У лебедей, у кого! У птиц.

Поликарповна звенела посудой.

— Он что же, их кофею поил?

В отчаянии закатывала дочь глаза.

— Балда! Ну и балда же, — изумлялась она, — моя мамочка.

Но Поликарповне хоть бы хны. Не обижалась.

— Балда не балда, — отвечала спокойно, — а мужикам на шею не вешаюсь.

Это было уже похлеще лжегусей, которых якобы продавал на рынке благородный Вольдемар.

— Да ведь мы шутим! — кричала она. — Ты что, шуток не понимаешь?

Переваливаясь на своих больных ногах, мать топала в другой конец беседки, сгибалась в три погибели и над чем-то долго колдовала там.

— Шутят они! А жрать чего перестала?

— Как — жрать? — лепетала заволновавшаяся вдруг Мочалко-младшая. — При чем здесь жрать? — Сама же за день лишь два яблока съела да выпила стакан кефира. А прежде... О, прежде! Прежде, не успев отзавтракать, уже обсуждали, что на обед будет, причем старуха так и норовила всякий раз урезать меню.

— Мясо, — говорила, — сварим, вот тебе и первое, и второе.

— Как это, — возмущалась дочь, — и первое, и второе?

Мать объясняла: на первое — бульон, на второе — отварная говядина,

но Нина как работник общественного питания растолковывала ей (в сотый или даже тысячный раз), что бульон с мясом — это всего-навсего одно блюдо, и то неполное, в него еще много чего добавлять надо. А обед, как известно, из одного блюда не бывает. Из двух — тоже. Минимум четыре: закуска, первое, второе и десерт. Да еще перед закуской чего-нибудь остренького, да после десерта — чего-нибудь сладенького... Мороженого, скажем. Но от сладкого в горле першит, поэтому, покончив с мороженым, Нина намазывала смальцем ломоть хлеба, щедро солила и уплетала за обе щеки, прихлебывая квасок. Это после обеда-то из четырех блюд, не считая остренького и сладенького! Вот какой аппетит был у дочери Марии Поликарповны, и та ее за этот аппетит грызла. Теперь же, когда дочь перешла на пищу диетическую, пилила — чего, мол, есть перестала.

— Или толстая — сказал? Обхватить не может?

Так и шпыняла, так и шпыняла... Да еще специально на глазах у нее то шмат сала отхватит, то выломает у вареной курицы лапу, Нина же довольствовалась жидким чаем с сухариком. Вот только мучала она себя зря. Хоть бы чуток похудела! Зато Вольдемар, с утра до вечера трапезничающий в «Бризе» с бесчисленными друзьями, оставался тощ и ладен.

— Нашел работенку! — ворчала Поликарповна. — Чебуреки жрать!

— Тебе-то что? — огрызалась дочь. — Не за твои же!

— А ты защищай, защищай его! Авось, еще разок в театр сводит. У самой-то, бедненькой, — схищничала она, — денег на билет нету.

Сколько уж времени прошло, но все попрекала тем невинным походом. Никак, видимо, забыть не могла, как у всех на виду вел он ее под ручку, разнаряженную, с вырезом на груди. И как битый час перед тем вертелась она в беседке у зеркала. То на табуретку его поставит (зеркальце маленьким было — большое в комнате осталось, у курортников), то на пол, то подымет двумя руками и любуется прической, сделанной, подозревала мать, в парикмахерской. Сроду не ходила, а здесь сбегала тайком... Да еще губки намалевала. Да бровки подвела. Да припудрилась...

— У-у, корова! — ворчала Поликарповна. — Совсем ошалела на старости лет.

Нина, возбужденная, легкая, как пушинка — при своих-то ста без малого килограммах! — великодушно пропускала мимо ушей и «корову», и «на старости лет», и все прочее. Глаза ее блестили. В руке откуда ни возьмись появлялся флакончик (прежде Поликарповна его не видела), и, смачивая пальцы, она быстро трогала шею, грудь, пухлые, как подушечки, щеки.

Нехорошее подозрение зарождалось мало-помалу в уязвленном сердце старухи. Если скользкий тип этот, рассуждала она, попробовал однажды ее мягкой постельки, то почему бы ему опять не сунуться? Она пляж охраняет, Нинка дрыхнет без задних ног (а может, и не дрых-

нет — кто знает!), он же, артист, блаженствует себе на чужих подушках. Все лучше гамака, что раскачивается под хмурым небом...

И вот темной ночью, бросив побережье со всем его курортным инвентарем на произвол судьбы, подкралась Мария Поликарповна к собственной беседке. Тишина царила там. Абсолютная тишина! А прежде доченька храпела, как хороший мужик...

На ощупь открыла Поликарповна решетчатую калитку. Тьма стояла кромешная. Но ладно — тьма, почему тихо так?

К своей койке двинулась искушенная в делах слежки охранница, но одно дело — песок, на котором ничего не слышать, а другое — деревянные половицы. Одна скрипнула, и тут же раздалось приглушенно-хриплое:

— Кто?

Ага, испугалась! Но не слишком почему-то... Не заорала что есть мочи... Стало быть, ждет кого-то?

— Кто тут? — крикнула Нина.

Крикнула!

Вольдемар — тот, как выяснилось, не спал, покуривал, глядя на звезды. Бездной любовался... И вдруг — голос невестушки. Сперва — негромкий (он насторожился), а потом — прямо-таки вопль дурной. Тотчас выпрыгнул он из гамака.

— Эй! — гаркнул, летя к беседке. — Нина! Что там у тебя?

Не «невестушка», не «Ниночка» (ее ведь все — и стар и млад — Ниночкой звали), а Нина.

Она не забудет этого. Много дней пройдет, много недель и даже месяцев, давно съедет со двора интеллигентная Екатерина Болеславна с опозорившим ее сыном, а Мочалко-младшая нет-нет да вспомнит вдруг в самый вроде бы неподходящий момент (карауля, например, когда всплывут златобокие рыбины-чебуреки) — вспомнит, как среди ночи мчался на помощь ей босой и бесстрашный мужчина.

И маки тоже вспомнит. Алые, с чашку величиной... И розы... (Он ей однажды розы преподнес.)

— До сих пор мой сын, — поделилась как-то Екатерина Болеславна с фармацевтом Галкиным, — ни одной женщине, кроме матери, не дарил цветов.

Это, разумеется, намек был. Неизвестно, услышал ли его туговатый на ухо Галкин, но Поликарповна услышала. Высунувшись из беседки, она сказала (так просто, ни к кому конкретно не обращаясь):

— Вон! Люди на кладбище принесут цветочки, а утром ни одного нет. — И опять в беседке скрылась — аптекарь не сообразил даже, что за голос вдруг.

Его интеллигентная собеседница помолчала с минуту, покусала на-

крашенные губки, белым зонтиком поиграла (она с зонтиком ходила) и говорит:

— А возьмите общественное питание! Разве можно у них есть что-нибудь? В котлетах — хлеб один, в чебуреках — водичка. Зато сами как на дрожжах, в дверь не пролезут.

Олег Васильевич напряженно свел брови. Нить разговора как-то ускользала от него, но на всякий случай он с пониманием наклонял свою большелобую голову.

Тут Поликарповне снова понадобилось зачем-то выйти из беседки.

— Вон! — сказала она, опять-таки ни к кому не обращаясь. — Вода в море двадцать градусов, а они семнадцать объявляют. Чтоб не купался никто.

То был выпад уже против самой Екатерины Болеславны. Умышленно, дескать, занижает температуру на своей биоклиматической станции. Будто эти самые утаенные градусы можно, подобно украденному мясу, сунуть за пазуху и отнести домой.

До прямых столкновений, однако, не доходило. Хотя страсти накалялись.

— Завела шарманку! — сердилась Поликарповна, когда Екатерина Болеславна, распахнув окно, начинала музицировать. Стоило же той появиться с книгами, принималась во всеуслышанье рассуждать о шибко грамотных...

Нина тоже записалась в библиотеку, тоже книжечки стала таскать. Мать сердилась. То заденет их, проходя мимо, и книги летят на пол, то сунет их куда-нибудь (например, в наволочку с горохом), но дочь, обшарив все, находила. Ставила перед собой будильник и, громко сопя, вздыхая и ерзая, дисциплинированно высиживала урок. Повышала, так сказать, свой культурный уровень. Вольдемар же тем временем... Ранимый, тонкой души Вольдемар (так со скорбью в голосе говорила о сыне Екатерина Болеславна) спекулировал чебуреками.

Сенсационную весть эту принесла Поликарповна. И, конечно, первый, кому поведала ее, был дядя Семен.

Тот погладил ногу, помолчал, размышляя.

— Это обувью, что ли?

— Какой обувью! Чебуреками! Нинкиными чебуреками. Семьдесят пять копеек порция. А он их — по рубчику. Сейчас отдыхающие рассказывали.

Тут как раз Галкин подошел, напряженно сдвинул брови, вслушиваясь. Поликарповна — и ему тоже, но громче и подробней, прикинув заодно, сколько имеет в день сын этой фифочки.

— А еще собаку завели! — прибавила она, зная о сложных отношениях фармацевта с фифочкиным песиком.

В умных глазах Олега Васильевича стусилась тревога.

— Неужели спекулирует?

Не верил!

— Я что, врать буду? Своими ушами слышала. Культурный, мол, такой, с цветочком. Вольдемаром зовут... Шепните только: нам чебуреки, и если три порции — трешку, четыре если — четыре... Двадцать пять копеек с носа. Зато без очереди.

Бывший чемпион сокрушенно покачал головой.

— Неужели спекулирует? Вот уж не думал... И где же он берет ее?

— Кого — ее? — пробормотала Мария Поликарповна.

Аптекарь приложил ладонь к уху.

— Простите?

— Кого — ее? — крикнула мать Нины.

— Обувь, — не повышая голоса, сказал Галкин. — Где он обувь берет?

— Да при чем тут обувь! Он чебуреками спекулирует. Че-бу-ре-ка-ми! У Нинки которые. В кафе ее.

Фармацевт спокойно кивнул.

— Слышу. Чебуреками.

Так разлетелась по двору эта потрясающая новость. И не только по двору. Не только... Едва смолкали позывные биоклиматической станции и раздавался приятный женский голос, как облаченная в белый халат служительница, задержавшаяся — неспроста, видать! — после ночного дежурства, произносила громко:

— Сынок-то ее — знаете?

И уже не удивлялась, слыша в ответ:

— Знаем. Обувью спекулирует.

Обувью так обувью — зря ведь люди не станут болтать. Вот только Нина все еще трепыхалась и нервничала.

— Да он сам, — шумела она, — в кедах ходит. И те заштопаны... Черной ниткой.

— А ты уж, — уличала мать, — и нитку разглядела.

Безнадежно махала Нина рукой. Докажи попробуй, что человек и не думал наживаться, просто делал любезность людям. А что какая-то мелочь оставалась у него, так кто теперь считает мелочь?

— Как женишка-то защищает! — умилялся дядя Семен, лаская нацеленную на чебуречницу ногу. Хромой черт! Нина пряталась от него, зато Ева вздохнула с облегчением: раз и навсегда прекратились разговоры об Адаме, которого кто-то там заграбастал.

Спокойней зажили и другие дочки-матери — Бобковы, Анна и Алла. Поругивались, конечно, но не так ярко; звук падающего тела теперь уже не долетал из сарая. Дядя Семен, во всяком случае, не слыхал.

Но он слышал и после с подробностями рассказывал всем желающим, как интеллигентная Екатерина Болеславна дубасила своего сына. Не руками и не ремешком — чем-то, судя по звуку, металлическим.

Позже сообразили — чем. Зонтиком. Тем самым белым зонтиком — больше его, увы, не видели. Сломался, должно быть... А Вольдемар (по свидетельству опять-таки дяди Семена) вопил радостно: «Так

мне, мерзавцу! Так!» Ну и, конечно, о бездне что-то — на сей раз бездне позора, в которую угодил он по своей доброте и людскому коварству.

Три дня после гордо ходил с крестиком пластыря на лице. Зато свеженький, как огурчик, сияющий. Помолодевший... Будто живой водой окатили.

Он-то помолодел, а мать разом как-то состарилась. Померк взгляд, ссохлись, спеклись накрашенные губки. Теперь даже у Поликарповны не поворачивался язык звать ее фифочкой.

Трогая пластырь, Вольдемар плел что-то о спасении утопающих. Трепач! Все знали, что давно турнули его из спасателей и работает он теперь лифтером в доме престарелых. Никакого лифта, правда, в доме престарелых не было, да и откуда взяться ему в старом двухэтажном особняке, но должность такая в штатном расписании как будто имелась.

Так всю жизнь и порхал с места на место (объяснял всем желающим раскусивший его дядя Семен). Мотылек... Балаболка...

В конце октября, когда опустели пляжи, когда сильно поредели кроны деревьев и растаяла хроническая очередь за знаменитыми виттинскими чебуреками, во двор въехал как-то под вечер вместительный грузовик. Вольдемар, в шляпе и галстуке, с цветком в петлице, показывал дорогу, и по тому, как он делал это, угадывался шофер экстра-класса. В кузов погрузили вещи, пианино вкатили, Екатерина Болеславна с Димкой, обляявшим напоследок фармацевта Галкина, села в кабину (на ней снова были черные перчатки), сын наверх махнул, и машина тронулась.

— Прощай, невестушка! — крикнул Вольдемар, подняв шляпу.

— Прощай, женишок! — ответила Нина и ручкой ему, ручкой. в глазах же ее, утверждал после дядя Семен, что-то такое блеснуло. Но мало ли, что говорил дядя Семен!

Как выяснилось, Екатерина Болеславна и ее непутевый сынок чуть ли не каждый год меняли квартиры. От позора бежали! Вольдемарчик — он все! То одно выкинет, то другое... Теперь, однако, позор был так велик, такую огласку получила история с обувью (то бишь с чебуреками), что не только со двора пришлось тикать — из города тоже. В Витте их с тех пор, во всяком случае, не выдали. И приятный голос бывшей актрисы по радио не звучал больше.

В квартиру их въехали мать с дочерью. Первой было уже под шестдесят, на пенсию собиралась (но так и не ушла до сих пор), второй — неизвестно сколько. Таким образом, число дочек-матерей не уменьшилось, как пророчествовал дядя Семен, а, наоборот, увеличилось на одну пару.

А так все по-старому. Почти все... Зинаида Кошелева по-прежнему вкалывает на трех работах, а Ева по-прежнему водит дружков на танцплощадку. Но уже не так часто и уже не длинноволосых, а в основном

лысенских. Бобкова-старшая (то ли Алла, то ли Анна) все так же трудится в автопарке, а младшая в библиотеке. Не в той, куда зачастила одно время Нина Мочалко, в другой, но теперь это не имеет значения. Ибо ни в какие библиотеки Нина давно не ходит. Аппетит восстановился у нее и даже несколько возрос, она снова храпит по ночам, а Поликарповна с мая по октябрь охраняет пляж. Дядя Семен еще больше поседел и обрюзг, но поста своего не покидает. Фармацевт Галкин спокойно ходит куда надо. Словом, все как прежде, вот только лебеди не прилетали больше. Ничего удивительного. Редки, очень редки на море эти гости. Дай бог, как говорится, хоть раз в жизни увидеть.

Мне повезло — я видел. Красивое зрелище.

ПОЖАРНИК АФРОДИТА

Не люблю вторников. Это с детства, когда темным и скучным был по вторникам светопольский цирк. Выходной... Зато в остальные дни я ошивался тут едва ли не каждый вечер. Билета не было, но это ничего. Подстерегал, когда толпою повалят припоздавшие зрители, и тихонько вклинивался между ними. Чинный... С постной миной. Этакий пай-мальчик, которого интеллигентные родители ведут приобщиться к искусству.

Иногда выгорало, иногда нет. «А твой билет?» — раздавалось вдруг, и, как ни изображай маленького профессора, по рассеянности отставшего от своих, как ни вскидывай оскорбленно брови и ни озирайся вокруг — дескать, только что здесь были! — игра проиграна. Взашей тебя! С криком! На глазах у всех.

Но я возвращался. Как мотылька на свет, тянуло меня сюда. Инстинкт! Что-то, видать, помнило во мне другие праздники и другие балаганы. Именно балаганы — на базарных площадях, под крики зазывал, под гвалт и смех, среди острых запахов съестного. Издалека — о-о, издадека! — пришла ко мне любовь к цирку. Первозданна она, первобытна, интерес же к другим искусствам — работа поздних времен.

Цирк бескорыстен. Он не учит, он развлекает, но поостережемся низводить его за это с пьедестала искусства. Вспомним лучше, что и Гомер развлекал, и Шекспир, театральный сочинитель, и Сервантес, безудержно строчивший свой пародийный роман. Прежде всего развлекали, а уж потом все остальное.

Разумеется, тогда ни о чем подобном я не думал. Иное занимало меня: просочиться внутрь и там, внутри, под двухголовым брезентовым куполом, хлопающим на ветру, уцелеть, пока не вспыхнут прожектора, и оркестр наверху, выпрыгнув из мрака, не заиграет вступительную увертюру. Фу-у... Теперь мне никто не страшен. Даже Афродита.

Меня она знала как облупленного — в одном дворе жили. Ей бы проявлять гуманность ко мне, соседу, ей бы не выслеживать меня, а, напротив, хотя бы разок без билета провести, но где там! Грозно озирала она сверху сбегающие вниз переполненные ряды. Лишь проходы оставались свободными, и как славно можно было б посидеть на приступочках, кабы не эта ведьма! Мы, видите ли, нарушаем правила противопожарной безопасности, а она поставлена сюда блюсти их. Афродита была (да и поныне остается) единственной известной мне женщиной-пожарником.

Вообще-то ее звали Аннушкой, но кто-то из несовершеннолетних грамотеев припечатал ее за греческое происхождение именем богини красоты. Это была злая шутка. Черная, усатая Афродита вряд ли могла породавать чей-либо взор. Вот если только волосами...

Когда она стояла, вытянувшись, на противопожарном своем посту, волосы были собраны в пучок — форменная фуражка с кокардой едва налезала, — но дома выпускала их на волю, и они черным водопадом ниспадали чуть ли не до щиколоток. Так и расхаживала по двору — волосы распущены, белки глаз сверкают, а голос гортанный, резкий, вороний какой-то.

Был у нее муж, рыжий мужичишка дядя Петя, заядлый козлятник — даже зимой, под снежком, в домино стучал, и сын был, но жил в колхозе, где-то, кажется, под Джиганском. Работал шофером и время от времени наведывался на своем грузовике в Светополь. С деревенскими гостинцами... То дынь привезет, то кукурузу, и Афродита варила ее на примусе в огромной кастрюле. Воссев на крыльце, волосы на грудь закинув, вонзала в сверкающий кочан металлические зубы.

Отсюда, с высокого крыльца, отлично видела она все. Не дай бог затеять нам игру со спичками! Тотчас подымалась, роняя волосы, руку вскидывала и на весь двор, вороньим своим голосом:

— А ну перестань! С огнем баловаться...

И это уже, понимаю я теперь, не от служебного рвения, а из чувства долга.

Мы дразнили ее... Если завернуть в газету плотно скрученную пленку, поджечь ее, а затем быстро погасить, то получится великолепная «дымовая». Вадька Конь был в этих делах мастером непревзойденным. Валил черный дым, и Афродита, задыхаясь, летела что есть мочи ликвидировать пожар. Одна! Но когда подбегала к крутящемуся волчком самодельному снаряду, он уже успевал выгореть и затихал, опустошенный. Мы ликовали. Поодаль, на безопасном расстоянии, однако безопасность наша была мнимой. Афродита — та не могла достать нас, но мы забыли о дяде Пете, тихом мужичишке, ничего, казалось бы, не видевшем, кроме своего домино.

Видел! Положив кости, папироску положив, подкрался сзади и — хват за уши сразу двоих, меня и Вадьку Коня. Мы аж присели, а рты наши, только что смеющиеся, криво вбок поползли.

С интересом глядели на нас голубые глазки — то на одного, то на другого, а пальцы продолжали выворачивать наши несчастные, наши жутко похрустывающие уши, и мы тоже выворачивались все, едва сдерживаясь, чтобы не завопить благим матом.

Быстро подошла Афродита. Босая. С кукурузой в руке — полуобглоданной. Выкатив черные глаза, часто-часто говорила что-то, но мы, оплоумев от боли, не понимали ни слова и оттого, должно быть, решили после, что говорила она по-гречески.

Дядя Петя не проронил ни звука. Держал нас, покуда жена его, этот черный огнетушитель, не выкипела вся, потом разжал пальцы и спокойно к столу вернулся, сунул папироску в рот...

Но что наши детские забавы по сравнению с праздником огня, какой — вполне легально — устраивался в цирке! И жертвы ведь были. Да-да, жертвы! На глазах сотен зрителей дотла сгорала хрупкая девушка, подарив на прощанье обворожительную улыбку. Как реагировала на это Афродита? Не знаю... В эти минуты я забывал о ней.

Фокусы были любимейшим моим жанром. Впрочем, «фокусы» — слишком общее понятие, так дилетанты говорят, я же прекрасно разбирался, где иллюзия, где манипуляция, а где, предположим, мнемотехника.

Многое, очень многое разгадывал сразу, а некоторые трюки мог даже повторить — в упрощенном варианте, — но были и такие, которые долго не поддавались расшифровке. Например, коронный номер иллюзиониста Михаила Вахто.

На афишах красовался сидящий в кресле мужчина, импозантный, с руками, ногами, начальственным животиком, но без головы. Точно бритвой отчикали. Как вглядывался я в это фантастическое изображение! Как жадно считал оставшиеся до премьеры дни!

Это были заключительные гастролы сезона. Осень... Первая осень, когда в нашей доселе мужской школе появились девочки. Конец пришел раздельному обучению...

Здесь начинается лирическая часть моего рассказа, теснейшим образом связанная — лично для меня! — с цирком. В частности, с иллюзионным аттракционом Михаила Вахто, с его сенсационным номером, взбудоражившим город.

Сейчас я понимаю, что «взбудоражившим» да еще «город» сказано слишком сильно, но в то время я был убежден, что все вокруг, подобно мне, только и думают о безголовом джентльмене.

— А кто потом, — иронизировал Толя Скат, с некоторых пор повадившийся ходить в наш класс, — кто потом пришивает голову?

Я знал, перед кем выпендривается он. И ради кого шастает сюда. Ради Вали Буртовской...

Она стояла тут же и слушала, закусив белыми зубками губу. Серые глаза ее смеялись. Как прямо держала она голову! Как ходила! Ноги в мягких туфлях двигались бесшумно и быстро, а руки при этом хоть

бы шелохнулись. Месяца не прошло, как переступила она порог школы, а весь наш класс сходил с ума по ней. И не только наш. Толя Скат своими одноклассниками пренебрег, а к нам хаживал. Он был разрядником по гимнастике, и для Вали, спортивной девочки, — что выделявала она в своем голубом трико на брусках и бревне! — это что-то да значило. Правда, он был малость пониже ее, но его это не смущало.

Читатель, должно быть, понял уже, что среди тайных вздыхателей Вали был и я, апологет цирка. С таким жаром говорил я о нем, так страстно отстаивал его всемогущество, что растормошил Валино любопытство, и она, вытирая на перемене доску, спросила вдруг, куда все-таки девается голова.

Вдвоем были мы в классе. Кажется, вдвоем... Глаза ее улыбались, а я не знал, что ответить ей. Но если она хочет... И смолк.

— Что? — спросила она, не опуская руки.

Две ленточки были вплетены в сцепленные крест-накрест косички.

— Можно сходить, если хочешь, — договорил-таки я. А сердце — бум-бум-бум.

— Хочу.

Я не поверил.

— Правда? Я... Я билеты куплю. Мы по билетам пойдем.

Ленточки запрыгали. От смеха...

— Конечно, по билетам.

Весь пунцовый стоял я перед ней, с ужасом понимая, что выдал себя.

Но приглашение состоялось. Теперь надо было доставать билеты. Мне пофартило: соседке Зинаиде Борисовне привезли новые стулья, и она кликнула меня, чтобы старые я спустил в подвал, за что по-царски отблагодарила десяточкой. Остальное одолжил Вадька Конь. И так, деньги были, но...

На кассе который уж день висела табличка «Все билеты проданы». С каким наслаждением перечитывал я ее — для меня это было гарантией, что, во-первых, гастроли не отменят и что, во-вторых, представление будет и впрямь замечательным, коли взрослые, солидные люди так и рвутся на него.

Но как же теперь быть?

— Афродиту попроси, — посоветовал многоопытный Вадька Конь. — Она работает там, ей дадут.

И я отправился к Афродите.

Она сидела на крыльце в всегдашней своей позе стража порядка и лузгала семечки. Рука ее замерла, когда я вырос перед ней.

— Здравствуйте, тетя Аня.

Она молчала, тревожно глядя в меня. Так ее еще сроду не называли — тетей Аней. Взрослые — Аннушкой, а мы Афродитой (за глаза), в глаза же — никак.

— Не могли бы вы выручить меня,— отчеканил я загодя отрепетированный текст.— Мне два билета нужно. Пожалуйста...

На коленях у нее сидел кот. Черный, как хозяйка, и так же, как хозяйка, смотрел на меня с беспокойством. Не привыкли к гостям.

— Чего ты?— проговорила Афродита. На толстой губе ее висела семечная скорлупа.

Я повторил, что мне нужно два билета, но опять не сказал куда. Мне казалось, это само собой разумеется, она же никак не могла взять в толк, о каких билетах канючу я. На поезд, что ли...

— В цирк,— сказал я.— Два билета в цирк. Пожалуйста.

Тут она удивилась еще больше.

— Но где я тебе... Это в кассе.

— В кассе нет.

— Как нет? В кассе.— И смахнула скорлупу.— В кассе билеты.

— В кассе нет, тетя Аня,— объяснил я вежливо.— Но если вы просите... Пожалуйста! Вы же работаете там.

— Где?— спросила она подозрительно.

— Там... В цирке.

— Да,— подтвердила она с гордостью.— Но билеты в кассе.

Пришлось снова растолковывать все. Она хмурилась. Распущенные, с седыми нитями, волосы обтекали смуглое лицо, которое сейчас вовсе не казалось мне страшным. Напротив...

— Пожалуйста, тетя Аня,— взмолился я.— Мне очень нужно. Вот деньги...— И, положив сложенные пятерки и рубли возле тарелки с горячими семечками— они так и пышили жаром,— бочком, бочком спустился вниз.

На другой день едва я вышел во двор, как раздался ее гортанный крик:

— Э-э! Слышишь, э!

Мы все повернулись, удивленные. Она стояла на крыльце во весь рост, с распущенными волосами, и махала рукой, подзывая кого-то.

Меня, кого же еще. Стремглав бросился я.

Афродита улыбалась. Кажется, я видел это впервые. Она улыбалась и протягивала мне розовые бумажки, которые я столько раз видел в чужих руках, а сам не держал ни разу.

Надо ли говорить, с каким благоговением принял я их!

— Большое спасибо...

— На здоровье,— ответила она с довольным видом и тотчас же протянула билеты обратно.

— Здесь место,— проговорила, тыча пальцем.— Где сидеть.

— Да-да,— закивал я.— Знаю. Спасибо большое.

— На здоровье.— Но билеты не выпускала.— Правая сторона, шестой ряд.

Не глядя шпарила. (Позже я узнал, что она вообще не умела читать.)

С Валеи мы встретились у цирка. Не в форме, а в платье была она, в розовом платье и без косичек. Взрослая какая-то прическа... Она казалась выше ростом. Или на каблуках была?

Длинные желтые скамейки пустовали. Как майские жуки, чернели на них — чем дальше, тем ближе друг к другу — номера мест. Пустовала арена — невзрачная, маленькая. Пустовала площадка для оркестра... Но вот один музыкант вышел, согнулся в полумраке, а ногу на стул поставил. Шнурок завязывал? На свою даму покосился я — не видит ли? — но нет, туда, слава богу, не смотрела. В противоположную сторону... Я проследил за ее взглядом и увидел Афродиту. Она стояла в своей фуражке с кокардой, черная, носатая, и глядела прямо на нас, скаля в улыбке металлические зубы. Делом своих рук любовалась... Польщенный ее вниманием, — какой-никакой, а работник цирка! — я учтиво поклонился.

Валя сидела с опущенными глазами.

— Кто это? — прошептала она.

— Афродита. Соседка наша. Пожарником работает.

Но ни экзотическое имя, ни странная для женщины должность не удивили Валю Буртовскую. Я вдруг заметил, какой длинный у нее подбородок, и мне это понравилось (мне все нравилось в ней). Она спросила, чуть приоткрыв губы:

— А чего она смотрит так?

Осторожно повернул я голову. Афродита словно бы ждала этого и еще радостней заулыбалась, закивала. Как на иголках сидел я, затылком чувствуя ее умиротворенный взгляд.

Но вот прозвенел третий звонок, засуетились, усаживая опоздавших, билетерши, вразной громко заверещали музыкальные инструменты — заверещали и смолкли, вспыхнули прожектора, но не арену освещая, а оркестр, лицом к которому стоял, вскинув палочку, тоненький дирижер, и — грянула музыка. Тут я не только об Афродите, тут я и о своей прекрасной спутнице забыл. К куполу воспарил мой дух — да простится мне это высокопарное сравнение. Высыпали и в один миг бесшумно выстроились в два ряда нарядные униформисты. Представление началось.

Не все цирковые жанры вызывали у меня одинаковый восторг. Так, например, я был равнодушен к дрессированному животным (позже филатовские медведи развеяли это предубеждение), особенно к разного рода укротителям. Обожал клоунов... И еще — так называемый оригинальный жанр, который волновал и интриговал одной уже своей неопределенностью. Акробаты, жонглеры, канатоходцы, воздушные гимнасты, музыкальные эксцентрики — тут всегда заранее знаешь, что ждет тебя, а вот оригинальный жанр сулит сюрпризы. Да еще какие!

Никогда не забуду грузинского артиста Сандро Да-Деш (позже он выступал под своей настоящей фамилией — Дадешкилиани). На арену стремительно выходил высокий красивый мужчина в черном плаще

и шляпе, движением плеч скидывал плащ на руки ассистентки и быстро снимал шляпу. Так быстро, что до вас не сразу доходило, что снимает он ее не рукой, а ногой. А руки? Руки в белоснежных перчатках висели неподвижно.

Быстро садился за низкий столик, брал ручку (ногами, все ногами! У него были специальные лакированные штиблеты с прорезью для пальцев) и быстрым, ровным, красивым почерком писал: Да-Деш, Да-Деш, Да-Деш, а ассистентка раздавала эти бумажки зрителям.

Пересев за другой столик, изысканно сервированный, принимался за ужин. Откупоривал бутылку, наливал воды в фужер, пил, вытирал салфеткой рот и так орудовал вилкой и ножом, как иные руками не умеют. Ставили мольберт, и он мгновенными штрихами набрасывал шарж на клоуна, а когда тот возмущился было, схватил его за ухо (но-гою!). Потом заряжал ружье, ложился на спину и стрелял по резиновым шарикам. Без промаху...

Говорили, он родился без рук. Возможно... Но в любом случае это был уникальный номер. Я смотрел его раз десять. Но это было не в тот сезон, о котором речь сейчас,— позже.

Гвоздем нынешней программы считался, безусловно, иллюзионный аттракцион Михаила Вахто. Им завершалось представление, пока же шла обычная программа. Это для меня обычная, а Валя Буртовская не отрывала глаз от арены. Особенно по душе пришлось ей гимнасты. Незримое присутствие Толи Ската, разрядника, ощутил я. Как нож по сердцу были мне аплодисменты, которыми награждали их. Я ерзал и шелестел программкой. Ничего, думал, ничего, настанет и мой черед. Я верил в Михаила Вахто.

В антракте на арену уложили деревянный, красочно расписанный настил — неперменный атрибут всех иллюзионных аттракционов. Яркой дорожкой застелили барьер. Я профессионально всматривался, нет ли какого секрета, а сам с воодушевлением повествовал о трюках знаменитого Кио. Валя смотрела на меня не отрываясь — теперь уже на меня, а не на своих гимнастов.

Кто-то тронул меня за плечо. Я вздрогнул, будто пойманный с поличным. Будто в кармане у меня не лежало билетов. Обернулся...

Передо мною стояла Афродита. Она улыбалась и кивала и, судя по всему, не собиралась выпроваживать меня. Я перевел дух.

— Здравствуйте, — пробормотал.

Она не ответила. Отступала, улыбаясь и довольно кланяясь, все выше и выше подымаясь...

Второе отделение началось с воздушного полета, потом выступал эквилибрист на свободной проволоке («Берегут арену», — подумал я расстроганно), и вот...

После каждого трюка Валя оглядывалась на меня: неужели? Я сдержанно кивал, подтверждая.

На глазах у зрителей собрав ящик, Михаил Вахто сунул в него трепыхающуюся курицу, накрыл платком, снял платок, проворно раскидал ящик. Курицы не было. Валя догадливо глянула на меня.

— В столе...

Я усмехнулся и показал глазами на арену: смотри! И Михаил Вахто не подвел. Сдернул скатерть, в одно мгновение разобрал столик. Никого...

С каким доверчивым изумлением смотрела на меня моя подруга! Царственным взглядом снова отослал я ее к арене. То ли будет еще!

В высоком кресле вывели Михаила Вахто, но не на середину, а лишь в проход и тут, возле самой портьеры, плотно задернутой, оставили. Телефон, бумажки... Бюрократ изображал он. Громко, через динамики говорил, что приема нет, что он занят и т. д. Потом углубился в чтение журнала, совершенно закрыв им лицо, а когда отнял журнал, головы не было. Руки двигались — живые руки, без перчаток, двигались ноги, продолжал голос звучать, а голова пропала. Окруженная белым воротничком темнела гладкая ровная поверхность...

Валя Буртовская ошеломленно повернулась ко мне.

— Иллюзионный аттракцион, — изрек я, и слова эти прозвучали веско и загадочно.

Безголовый бюрократ между тем размахивал руками, требуя что-то (кажется, чтоб голову вернули), и тут вдруг... Этого даже я не ожидал... Тут вдруг Михаил Вахто собственной персоной пожаловал на арену. С центрального, зрительского входа. Кресло с туловищем втянули за портьеру, зазвучал туш, и великий артист вскинул вверх свои пухлые ручки.

Хлопали мало — фокусникам всегда мало хлопают, ибо надо же время, чтобы в себя прийти, но ведущий, умница, не отпускал его, и я из всех сил бил в ладоши. А потом, повернувшись, встретил взгляд, который мне не забыть никогда.

Нежное восхищение сияло в ее глазах. На мой бравый вопрос: «Ну как?» — она ответила чуть слышно:

— Очень...

Я шагнул в сторону.

— Прошу!

Поблагодарив улыбкой, она робко скользнула мимо, очень близко от меня, почти вплотную, но не задев меня даже платьем. Я заметил, как порозовело ее лицо и как дрогнули опущенные ресницы, очень длинные.

Новая жизнь настала. И пусть другие не замечали ничего, пусть самоуверенный разрядник Толя Скот по-прежнему игнорировал нас, убежденный, что мы ему не соперники, но я-то знал, что у нас с Валею отношения особые.

Как поведать о них? Ни объяснений, ни записок, ни хотя бы нечаянных касаний рук — ничего этого не было. Только взгляд, только улыбка, только интонация голоса...

Может быть, я ошибался? Может, обычную вежливость принимал за бог весть что? Нет! Другим она не так улыбалась, или не улыбалась вовсе, или, улыбнувшись, тут же отворачивалась и забывала об этом человеке, на мне же ее взгляд задерживался. Он был мягким и немного вопрошающим, этот взгляд, словно она высматривала во мне что-то. Словно чего-то от меня ждала.

Ждала, но не торопила. И никогда не напоминала ни о цирке, ни о чудесах, которые видела там. Кроме, пожалуй, одного-единственного раза.

На лабораторной по физике было это. Вместе делали мы опыт, группой из пяти или шести человек (и то, что мы оказались в одной группе, тоже ведь не было случайностью). Когда подкрашенная вода наперекор здравому смыслу двинулась вверх по стеклянной трубке и все обрательно захлопали, Валя произнесла негромко:

— Как у Вахто...

Глаза ее, устремленные на меня поверх склоненных над столом голов, смеялись. И не опустились, когда я поднял взгляд, а продолжали смотреть, и губка закушена.

Это ли вам не доказательство? Но было и кое-что посущественней.

Раз ей попал в руки мой школьный дневник. Впрочем, *как* он ей попал, тоже заслуживает внимания. Она взяла его у меня с парты, не спросив разрешения — просто руку протянула. Я не протестовал. Вдохнул лишь: мой дневник и ее дневник! И дело не в отметках, которые у меня скакали от пятенок до колов, она же не имела ни одной троечки, дело в самих дневниках. В их внешнем виде. Ее — чистенький, обернутый розовой бумагой, аккуратно заполненный... А мой!

Сколько времени требуется, чтобы на неделю вперед написать расписание уроков? Пять — семь минут. От силы десять, если выводить все каллиграфическим почерком.

У меня этих пяти минут не было никогда. На голых страницах стояло вразброс: «Рус.», «Алг.», «Ист.» и рядом — каракули, обозначающие название темы или номера задач. Это в лучшем случае. В худшем не стояло ничего.

У меня этот дневник сохранился. Красными пометками испещрен он, причем одна, варьируясь, проходит насквозь, от корки до корки: «Небрежно ведет дневник»... «Очень небрежно ведет дневник»... «Ведение дневника — 2»...

Но что это? Шесть страниц подряд заполнены сверху донизу крупным, ровным, изумительным почерком. Без всяких «Ист.» и «Алг.», а уважительно выведено полное название предмета. Не помню, в каком приключенческом романе капитан приказывает вылить за борт в разбу-

шевавшееся море полдюжины бочек жира, и сразу же, как по мановению волшебной палочки, наступает штиль. Вот так и в дневнике у меня.

Здесь никакой волшебной палочки не было. Обычная ручка, которую Валя Буртовская, эта гордячка, взяла своими тоненькими пальчиками и, закусив губу, заполнила, не отрываясь, целых шесть страниц. На три недели вперед. Потом старательно промокнула, закрыла дневник и без единого слова положила его на краешек моей парты.

Ну что? Тут уж не только дух, тут уж сам я воспарил под потолок.

В тот же день я поджидал ее с портфелем в руке у школьной калитки. Звонко шлепнулся о тротуар коричневый, блестящий, с черным бочком каштан. Подпрыгнул, откатился к забору и исчез в ворохе листьев, как в норке. Осторожно поворошил я их носком. Каштана не было. Еще поворошил, потом нагнулся и раздвинул листья рукой. Не было... Я даже засмеялся от изумления — впрочем, тогда я от всего смеялся, — а когда поднял голову, в двух шагах от меня стояла в расстегнутом пальто моя Валя. И губка закушена.

— Потерял что-то?

— Угу, — промычал я. — Каштан.

Она смотрела на меня веселыми глазами. Потом сунула руку в косую прорезь кармана и протянула на ладошке... каштан. Точно такой, как тот, что спрятался в листьях. А может быть, даже тот самый.

Я помотал головой:

— Да нет, мне не надо.

Каштан сверкал на солнце. Я видел это, не глядя на него. И еще видел бледные веснушки на ее лице.

Почти три десятилетия минуло с тех пор. Больше четверти века, но сцена эта стоит передо мной как живая. Тощий мальчуган в потертом пиджачке, рукава малость коротки — я быстро рос, и бабушка не успевала угнаться за мной, — и прямая девочка с ленточками в волосах. Беле-ный школьный забор, а над ним огромное дерево с красно-зеленой, еще густой листвой и светлыми шариками в колючках. Солнце светит. На ладони у нее лакированно блестит ядрышко каштана... С какой чудовищной высоты вижу я это? Тепло внизу, шуршат о тротуар листья. Она косится на каштан, будто сама удивлена, откуда он взялся у нее, свет его обратно в карман, медленно поворачивается и идет. Я пристраиваюсь рядом. Или даже не рядом, а чуть сзади, но все равно вижу, как о чем-то сосредоточенно думает она, опустив длинные ресницы, и чему-то тихо улыбается.

Я знаю, чему. Тому, что я все еще не разгадал фокуса. А она ждет. И, может быть, начинает сомневаться, смогу ли я. Этаким самозванцем чувствовал я себя. Почти самозванцем.

Но я не сидел сложа руки. Человек без головы прямо-таки преследовал меня, я думал о нем беспрестанно, он даже снился мне, однако секрет его мне не давался. Чуть ли не каждый вечер был я если не в цирке, то возле, а уж на второе отделение прорывался наверняка. Но

теперь мне приходилось труднее. Дело в том, что я панически боялся попасть на глаза Афродите. Если прежде меня мало трогало, что думает обо мне бдительная пожарница, то теперь, когда она лицеизрела меня сидящим в партере «как люди», с билетами, которые сама же достала, с дамой, то мог ли я снова пасть в ее глазах!

Она выделяла меня среди дворовых мальчишек. Кивала и улыбалась, когда я шел мимо ее высокого крыльца, а раз даже пальцем поманила, и я поднялся.

Рядом с ней, как и тогда, стояла тарелка с жареными семечками, но она не ими угостила, а вынесла из дома целый подсолнух — большущий, черный, сухой, зрелый даже в середке. Я засмутился и начал было отказываться, но она сунула его мне в руку.

— Ешь... Вкусно очень. Ешь!

Кажется, именно в тот день и озарила меня идея порасспросить благоволящую ко мне служительницу. Дежуря там каждый вечер, имея возможность (или даже обязанная?) бывать за кулисами, не могла же не знать она, как делается этот трюк. Наверное, им запрещалось разглашать, но если попросить... Если очень попросить...

Теперь уже я умышленно сновал неподалеку от крыльца. Афродита жарила что-то — сладкий маслянистый аромат растекался по двору. Увидев меня, оскалила металлический свой рот, позвала, и я, стараясь не выдать себя чрезмерной поспешностью, степенно приблизился.

Жарила она айву. Я глазам своим не верил. Айву? Да, айву... Не знаю, откуда вывезла она это блюдо, быть может, из родной Греции, но было очень вкусно. Горячие золотистые ломтики, кисло-сладкие, с тонкой-тонкой нежной корочкой.

Но меня, как вы понимаете, волновали не гастрономические чудеса. Иные...

Разведку боем начал я. О цирке заговорил, Афродита, однако, не поддержала беседы. Айва занимала ее куда больше. Заботливо следила, чтобы ломтики не подгорали и в то же время хорошо прожаривались. Поддев ножичком, пропускала под них масло.

— А Вахто! — старался перекричать я шум примуса. — Здорово он, а?

Она подняла на меня свои греческие глаза.

— Что?

— Вахто. Михаил Вахто. Иллюзионист. Фокусник. Человек без головы.

Это она поняла.

— А-а,— сказала без интереса и посыпала айву сахаром.

Наконец все было обжарено, примус погашен и хозяйка, сев на табурет, а волосы за плечи закинув (концы их касались чисто вымытого, влажного еще цемента), принялась за лакомство.

Лучшего момента, понял я, не дожидаться. И я взял быка за рога.

— Как он делает это?

Она придержала у рта огненный ломтик. Не понимала...

— Ну, это... — И я залихватски сотворил жест, который обозначал: беру голову (свою, например), сворачиваю, как кукурузный початок, и бросаю вон с крыльца — пусть катится, подпрыгивая.

Афродита с беспокойством проследила за этой катящейся головой.

— Как он делает? — повторил я. — А, тетя Аня? Вы же знаете. Как? Не бойтесь, я никому не скажу.

Она смотрела на меня, недоумевая.

— Что не скажешь? — Забывая у рта айвовая долька темнела на глазах.

Еще раз объяснил я все. Только теперь уже не жестом изобразил — растолковал словами.

С облегчением улыбнулась она.

— Так ведь он же артист! — Ее забавляло мое простодушие. — Артист... — И, удовлетворенная, положила айву в рот.

Тщетно доказывал я, что даже самому развеликому артисту не по зубам оторвать себе голову, а после приставить ее. Причем изо дня в день проделявать это. Из года в год...

С ласковой снисходительностью слушала она мой лепет. Экий еще ребенок перед ней! Так и ушел я ни с чем, если не считать, что откусшал блюдо, о котором до сих понятия не имел.

Оставалось надеяться на самого себя. Я приналег. Во вторник скучал, неприкаянно слоняясь из угла в угол (не люблю вторников!), а все остальные вечера пропадал в цирке. Ближе к артистическому выходу норовил пристроиться, на местах, которые считаются неудобными, поскольку приходится сзади смотреть, но зато есть шанс заглянуть за кулисы. Вернее, за портьеру, вплотную к которой стояло таинственное кресло.

Почему здесь, а не на середине арены? Обычно ведь там все делается...

В конце концов моя настойчивость увенчалась успехом. Раз портьера оказалась неплотно задвинутой, и жадный взгляд мой проник в святая святых.

Что увидел я? Буднично, как на лестничной клетке, горели лампочки. Они освещали человека, который стоял, согнувшись, у самого кресла, по ту сторону высокой спинки, а голову сюда просунув. Это был Михаил Вахто.

А в кресле? В кресле другой сидел, неизвестный, спрятанный с головой в специальный костюм, внешне такой же, как у Вахто.

Как плохо спал я в эту ночь! Как долго тянулась она, и как сгорал я от нетерпения все поскорей рассказать Вале Буртовской.

Мне глаза ее виделись. Глаза, в которых было то самое выражение, с каким она смотрела на меня тогда в цирке.

Конца уроков я не дождался. На первой же перемене с заговорщицким видом отозвал ее в сторонку, к окну, и выложил все.

Она слушала не перебивая. И ни о чем не спрашивая. Будто все сразу же поняла, а ведь там было столько тонкостей! Я-то разрешил их все, воруясь с боку на бок, но откуда ей знать!

Глаза мои горели. Я чувствовал, как горят они, а ее, видел я, гаснут. В них не было восторга, какой предвкушал я. И даже особого интереса не было. Она протянула:

— А-а,— и глянула на меня плоско. Не вопрошая, как прежде, и ничего больше не высматривая во мне. Плоско...

Это был конец. Нет, она не объявила, что разочаровалась во мне или что я ей, скажем, наскучил. Ни одного обидного слова не услышал я. Больше того, она старалась быть со мною поласковой. Когда однажды, набравшись духу, я предложил сходить на документальный фильм о Кио — сам я уже дважды посмотрел его, — ответила с сожалением:

— Не могу. У меня тренировка.

А тренировка у нее была в спортивной школе. Той самой, где блистал маленький и упрямый Толя Скат, разрядник.

Он добился-таки своего: Валя, деликатно отвергнув всех своих одноклассек, ходила с ним. Под ручку... Я не видел, но в классе говорили.

Зато Афродита проникалась ко мне все большим чувством. Зазвав на крыльцо, угощала то грецкими орехами — я рассовывал их по карманам, но ей этого было мало, и она сооружала кулек из газеты, то садовым кизилом, мясистым и крупным, влажным от багрового сока, то еще не остывшим вареным сахаром. Чтобы хоть чем-то отблагодарить, я посвятил ее в тайну коронного номера Михаила Вахто.

Это был последний день его гастролей — сезон закрывался. Она выслушала меня, как и Валя Буртовская, не перебивая, но в отличие от Вали не поверила мне. Даже возмутилась.

— Он же артист! Артист, понимаешь...

Он был артист, а я наговаривал на него бог весть что. Чуть не в жульничестве обвинял.

— Можете посмотреть, если не верите, — обиженно посоветовал я. — Еще не поздно.

Гневно отвергла она мое бесстыдное предложение. Но тут же успокоилась, сказала, что я мал еще и ничего не понимаю. А поскольку я был мал, вынесла из дому желтую, граммов на четыреста, грушу.

— Ешь! Сейчас ешь. Тут...

И с наслаждением смотрела черными своими глазницами, как по-роком впился я в сочную мякоть.

ШИШИГА

У Даля «шишига» — это сатана, кикимора, нечистая сила, что не очень как-то вяжется с образом, который живет во мне. У нас под этим словом подразумевалось иное. «Прямо как шишига какая», — говорила

бабушка о неугомонном человеке, не умеющем и минутки посидеть спокойно. Вот и застряло в моем сознании, что шишига — это некий забавный зверек, который все время вертится и скачет. Маленький такой, с черными глазками и почему-то белый.

Впрочем, я понимаю почему. Беленькой тетя Наташа была — седая быстрая старушка, соседка наша по двору. Ее-то чаще всего бабушка и звала шишигой. Наташка-шишига...

Жила она в тесной комнате с таинственными углами и закоулками. Таково, во всяком случае, мое детское впечатление. Иначе я не умел объяснить, куда тетя Наташа время от времени исчезала. Вот только что здесь была, рядом, смеялась звонким, как колокольчик, детским смехом, и вдруг — нет ее. Пропала. Один оставался я с котятками, ради которых, собственно, и хаживал сюда, а она в это время занималась не знаю уж чем, незримая, неслышная, потом выныривала со смехом, быстро-быстро говорила что-то, нисколько не заботясь, понимаю ли я ее, не собираюсь ли сам сказать чего. Это из-за глухоты. Она плохо слышала, поэтому предпочитала говорить сама, нежели другим внимать. Все легче и веселее.

Котятка, что так занимали меня, не были мне чужими. Их наша Мурка принесла, одна из мурок — забыл, какая именно. Кошка у нас жила всегда (не кот, хотя бабушка непременно брала котика) и, естественно, периодически котилась. На здоровье, вот только что делать с прибавлением? Ладно, пока маленькие, а как вырастут? В чужой двор подбрасывать? Обрекать на мучения?

Это бабушка так говорила — «обрекать на мучения» — и считала куда гуманней утопить несчастных в младенчестве. Пока глупые (с ударением на втором слог). Пока слепы...

Милосердный акт этот совершал или Дмитрий Филиппович, или Александра Сергеевна, мать Уленьки Максимовой. Я, понятно, канючил, чтобы оставили, они, клясь, будут прехорошенькими и кто-нибудь обязательно возьмет их, но бабушка на уговоры не поддавалась. Ей гарантии требовалась, а я, ребенок, разве мог дать ее? И вот тут на помощь пришла Наташка-шишига. Раз, всего раз, но пришла, и каким же добрым ангелом казалась она мне — это вначале, и какой же злодейкой — потом, когда она этих котят, уже подросших, умненьких, доверчивых и веселых, собственноручно подбросила к столовой, где они сгинули бесследно. Какой злодейкой! Лишь много лет спустя, уже взрослый, я понял, что не так-то просто все и что ужасное преступление Шишиги было, может быть, не столько преступлением, сколько актом любви и самоотречения. А может быть, тем и другим одновременно.

Ее давно уже нет на свете, тети Наташи, но она стоит передо мной как живая — легкая светлая старушка с платочком в руке. Вернее, не стоит, а пляшет, глаза блестят, платочек трепещет над простоволосой голо-

вой, все расступились, образовав кружок, Кожух баян растянул, а в честь чего гулянье — праздник ли какой, день рождения, — сейчас не припомню.

А вот другая сценка, уже непосредственно относящаяся к моему рассказу. Зачем-то зашла к нам, увидела котят в тазу, только-только родившихся, вчера или позавчера, руками всплеснула, просияла, присела на корточки. Трех принесла на этот раз Мурка, но одного Афродита заказала, гречанка, жившая в нашем дворе и работавшая в цирке пожарником, а два других были, по существу, приговорены к смерти.

— Зачем животное на мучения обречь, — произнесла бабушка, быстро разглаживая морщинистой рукой скатерть. Нервничала — чего ж приятного! — Пока глупые... Я уже сказала Димушке, придет вечером.

Наташка-шишига радостно закивала. Радостно, поскольку решила сглуху, что Вероника Потаповна нахваливает котят — в унисон ей.

— Крохотулечки! — сказала она умиленно.

Вот тут-то у меня и шевельнулась надежда. У Шишиги, знал я, кошки нет...

— Умрут сегодня, — изрек я.

— Да! — восторженно согласилась глухая наша соседка. — Да! Крохотулечки.

— Умрут! — крикнул я. — Они умрут сегодня.

Бабушка продолжала разглаживать скатерть, и я — странное дело! — не получил замечания. Кричал «как на улице» (на улице, впрочем, тоже не разрешалось), а она помалкивала. Стало быть, тоже надеялась. Вдруг?

— Кто умрет? — тихо и все еще улыбаясь спросила Шишига.

— Они! Котят! — Я орал на весь дом. — Утопят! Сегодня!

Маленький рот ее недоуменно приоткрылся.

— Кто утопит?

— Утопят! Дядя Дима! Димушка...

— Зачем?

— Утопит! Чтoб не жили... Потому что отдать некому. Не берет никто. Слышите? Никто брать не хочет.

— Слышу, — спокойно сказала тетя Наташа, и я даже растерялся малость. А бабушка все разглаживала, все разглаживала скатерку.

— Никто брать не хочет, — повторил я, теперь уже негромко совсем, но Шишига услышала. Или, может быть, по губам прочла, не знаю.

— Я возьму, — сказала она и быстро над тазом склонилась, словно сейчас прямо и собиралась взять.

Бабушка ожила. Потом, дескать, потом, недельки через две-три, когда есть начнут. Они из хорошей семьи (это киски-то!), мать чистюля, интеллигентная (Мурка наша!), голодной будет сидеть, но со стола не возьмет и просить не станет, «не наятная», ждет, когда дадут. Хорошие котят! И в хорошие руки попадут — один Афродите, другой — ей, Ната-

шеньке (на радостях бабушка не скупилась на добрые слова), ну а третьего... Она вздохнула. Третьего Димушка того сегодня.

— Пока глупой... Зачем животное мучениям обрекать!

Шишига и это услышала. То ли услышала, то ли по губам прочла. И сказала:

— Я обоих возьму.

Что тут было! Как возликовали мы — и я, и моя бабушка! Бабушка даже больше — такой галантной, такой щедрой я видел ее нечасто. Три сорта варенья выставила, потчuya чаем — это Наташку-то шишигу потчuya, которую никогда прежде не баловала особым гостеприимством. Но это прежде. Теперь она сделалась своим человеком в доме. Чуть не каждый день заскакивала взглянуть на будущих своих питомцев и о разных поведать новостях. Как она проноживала о них со своей глухотой, и поныне остается для меня тайной.

Но о чем, вернее, о ком трещала она больше всего, так это о сыне. По ее словам выходило, что он у нее знаменитейший ученый. Помню свое удивление, когда, уже много времени спустя, я полез в энциклопедию и не обнаружил его там (занимался Петр Александрович фармакологией).

Мать звала его Петенькой Александровичем: «Петенька Александрович пишет...», «О Петеньке Александровиче в газете...». Я не помнил его совершенно, хотя Шишига утверждала, что когда-то мы с ним беседовали. У водопроводной колонки... Летом — я в трусишках был. Может быть...

Котята между тем подросли, и она взяла двух, как и обещала, а третьего унесла, посадив за пазуху, пожарник Афродита. Мурка в этот день неприкаянно слонялась по квартире, вынюхивала и мяукала. Звала... Моя сентиментальная бабушка презентовала ей деликатес — жареную рыбку (не косточки — рыбку), но Мурка хоть бы прикоснулась к ней!

Вечером к нам без стука, как всегда (все равно не слышала ответа), влетела Наташка-шишига. Точно девочка, веселым заливалась смехом.

— Скорей! Скорей! — И обеими ладошками манила за собой. — Что делают, паразиты! Скорей!

Но бабушка и не подумала двинуться с места. В состоянии легкой меланхолии пребывала она — в знак солидарности с Муркой, как я понимаю. Утомленно глянула на соседку, осведомилась: «Что там еще?» — но Шишига не расслышала. Она смеялась, и торопила нас, и говорила, захлабываясь, что они такое творят, такое...

— Кто они? — не без труда встала бабушка.

— Та они! Котятки... На шторке повис и качается, а другой — скок на него, скок, и спину вот так. — Она сгорбилась, показывая, и даже седые волосы ее, почудилось мне, встали торчком. Как шерсть у котенка...

Моя бабушка устало отвернулась. Ни смотреть, ни слушать не желала, а уж идти куда-то — тем более. Но я вскочил, и мы живо вышли вдвоем. Шишига — впереди, вприпрыжку, смеясь и тараторя, я — за ней.

Котятя действительно резвились на славу. Разве что по потолку не шастали. Но лишь по потолку; по стульям, кровати, подоконнику, столу носились как оглашенные. Даже по столу! Моя чистюля бабушка в ужас пришла б, и уж им бы от нее влетело, — даром что маленькие! — а Шишига только рассыпалась колокольчиком. Под шкаф закатывались они, под диван, и тогда она, чтобы видеть их, вставала на четвереньки. То один, то другой с разбегу налетал на нее, пугался, шипел, выгнув спину. «Фы! — делал. — Фы!» Хозяйка буквально заходилась от смеха. Старый и малый... Человек и звереныш...

С этого-то дня я и повадился ходить сюда. По три-четыре раза на дню заскакивал. Тетя Наташа упоенно рассказывала, что новенького «отчубучили» они, потом за дела бралась и, хотя комната была одна (правда, разделенная шторкой надвое — кухня и собственно комната), умудрялась, как я уже говорил, исчезать неведомо куда — не хуже котят, для которых здесь было вдосталь укромных местечек.

Конец моим визитам был положен неожиданно и круто. Сын приехал. Петенька Александрович. Он приехал внезапно, без предупреждений, чтобы, видимо, не волновать мать, но вышло еще хуже: от счастья она потеряла дар речи. То глухой была, а теперь еще и онемела. Знаками объяснять что-то стала, а я гляжу и не понимаю, и тогда она отодвинула пальчиком занавеску, дальше которой так и не пустила меня. С любопытством заглянул я в щель. За столом восседал незнакомый мне дяденька. В очках, с бородкой, щупленький такой. Быстро писал что-то. Шторка задвинулась, а Шишига приложила палец к губам: тс-с! Представляю, каково ей было, такой болтунье, молчать часами. Она ведь, бывало, не только со мной говорила, но и сама с собой, и с котятками, тут же приходилось соблюдать тишину прямо-таки библиотечную.

Вдруг из-под самых ног ее шарахнулись и пролетели, натываясь на ножки стульев, взмывая, два полноправных ее жильца, Черныш и Дымка. Ужас выразился на лице матери. Ужас. Вновь осторожно приоткрыла она занавеску. Петенька Александрович уже не писал. Вскинув брови, нахмурившись, глядел под стол, где носились, не желая знать ни о каких науках, два бесенка.

Борода дернулась. В тот же миг тетя Наташа выскользнула из-за занавески, молча принялась ловить своих несознательных воспитанников. Они думали, хозяйка играет с ними, прыгали и шипели, хвост трубой, а спина выгнута, но ей не до игры было. Сцапала одного, а другой, хитрец, под шкаф удрал. И так и эдак выманивала его, потом — делать нечего — распласталась на полу, просунула далеко голую руку и вытянула-таки.

Петенька Александрович следил за матерью поверх очков. На цыпочках пробежала она мимо него, заискивающе улыбаясь на ходу, кивая — пиши, мол, пиши, больше мешать не будут. Села, сунула обоих в подол и то гладила, лаская и успокаивая, то грозила пальцем. Я понял, что мне тут делать нечего, и ретировался, однако ж у меня и в мыслях

не было, какие тучи сгущаются над Муркиными детенышами. Даже когда на другой день Шишига забежала к нам и принялась расписывать (вне дома она мигом обретала дар речи), сколь важная работа у ее сына, и как устает он, и как необходим ему покой, и до чего же плохо ведут себя котята, и, эх, если б временно пристроить их куда-нибудь (тут она смолкла на секундочку и пытливо посмотрела на бабушку), — даже тогда я ничегошеньки не заподозрил и сердце мое не сжалось от дурного предчувствия.

А потом было поздно. Узнав, что Шишига подбросила котят к столовой, я полетел туда сломя голову, но минуло уже два или три дня, и ни Черныша, ни Дымки я не нашел. Трудно сказать, куда делись они. Может, подобрал кто. Может быть, попали, как говорила моя бабушка, в хорошие руки... О Наташке-шишиге она тоже говорила, но я не стану приводить ее крепкие выраженьица, замечу только, что вот тут уж слово «шишига» употреблялось в его изначальном, далевском значении.

Это бабушка. Что же с меня взять, мальчишки? Ах как припечатывал я проклятую кикимору! Особенно после свадьбы...

То была шумная и богатая свадьба, столы под открытым небом стояли, и гулял, разумеется, весь двор. Для детей накрыли отдельно, но потом все перемешалось, и я оказался неподалеку от Шишиги и ее ученого сына, которого, как вы понимаете, ненавидел люто.

Но весь двор — это не только взрослые и дети, это еще и кошки. Они прямо-таки шныряли под ногами (среди них и наша Мурка), и мудро ли, что кто-то осведомился у Шишиги, как поживают ее питомцы (она ведь о них уши всем прожужжала).

— А выпроводила! — ответила она браво.

— Как «выпроводила»?

— Так! Выпроводила! — И махнула ручкой в сторону ворот, где толпились зеваки.

Петенька Александрович хлебнул винца. Очки съехали, на бородачке — веточка укропа.

— Выпроводила, — сокрушенно подтвердил он. — И главное, понимаете, хоть слово сказала б. Молчком все.

Шишига залилась детским смехом.

— Молчком! — пропела она с гордостью. — Молчком.

— Потому что я... Вы понимаете, я, — он постучал по хилой своей груди, — разве я позволил бы?

— Не позволил! — заверещала она. — Не позволил. Молчком!

Петенька Александрович развел руками.

— Видите? Кто же предположить мог, что у меня мать такая жестокая?

— А вот и жестокая! А вот и жестокая! — радостно звенел и переливался ее голосок. — Шишигой меня зовет, — кивнула она на мою бабушку, которая демонстративно не смотрела в ее сторону. — Наташка-шишига! — И опять засмеялась.

Кажется, именно тогда я и видел ее пляшущей. Кожух баян растянул, она выскочила из-за стола, с платочком в руке, махала им над головой, такой же, как платочек, белой, и повизгивала от счастья и полноты жизни.

КАРТОШКА

Не преследовало, не терзало изо дня в день, не снилось по ночам — нет, не было ничего такого. Подолгу он даже не вспоминал об этом, но вдруг — пустяк, случайная ассоциация, и все вставало перед ним ярко и живо. В эти минуты Лукашову казалось, что тот далекий эпизод — сколько лет прошло? семнадцать? восемнадцать? — никогда не покидал его сознания. Возможно, так оно и было, а иначе чем объяснить, что все вспыхивало так полнокровно и подробности уцелели и запахи? Вот только почему-то прокручивалось все беззвучно, как немое кино.

С годами — или это уж мерещилось ему? — оживали все новые подробности, столь ничтожные, что он, двенадцатилетний мальчишка, вряд ли мог запомнить их. Стало быть, время, как ретушер, оттеняло что-то и что-то дорисовывало. Но вот раскачивающаяся из стороны в сторону голова горбатого Ратмира — какое воображение могло сочинить такое?

Вышагивал Ратмир энергично, целеустремленно, откинув остриженную под бокс крупную голову. По-видимому, это и рождало ощущение, что маленький горбун идет очень быстро, на самом же деле он двигался медленно, — хромой Алеша, во всяком случае, не отставал от него. Эта картина: двое шествующих по двору уродцев — раздутый карлик с болтающейся головой и долговязый хромоножка, — эта картина, тайком подсмотренная из окна, и жила в Лукашове, как заноза, от которой чувствовал он, ему уже не избавиться.

Светит осеннее солнце, ветки жасмина, еще не совсем голые, раскачиваются на ветру, вместо же забора — ржавые спинки кроватей. И вот за этими спинками, что отгораживают палисадник с жасмином от остального двора, очень близко к ним, торопятся, безмолвно жестикулируя, две фантастические фигуры.

Пройти тут было с полсотни метров, и Алеша не брал с собой палочки, а без нее каждый шаг сопровождался у него легким взмахом рук, словно входил по острым камням в воду. Оба полагали, вероятно, что никто не видит их: Лукашов жил в глухом углу двора, в тунике. Они даже не одевались, когда шли к нему, хотя было уже прохладно, и ветер, обдувая почти голый череп Ратмира, развеивал светлые легкие волосы Алеши. Внимательно глядел он под ноги, и если волосы застилали ему глаза, торопливо откидывал их рукой. Досадливым и спешным было это движение: он не мог позволить себе занять чем-то руки — они должны были быть свободными, чтобы, балансируя, испуганно взлетать

всякий раз, когда наступает он на большую ногу. Говорили о чем-то, спорили, но голоса не проникали сквозь закрытое окно, за которым стоял, притаившись, Лукашов. Потому, вероятно, и осталось безмолвие в памяти.

Спорили они часто, и порой уже не спор это был, а раздраженная и грубая перебранка. Злой на язык, насмешливый и наглый Ратмир не щадил товарища по несчастью, а тот не умел ответить достойно и, вспливав, бросался на него с кулаками. Лукашов спешил разнять их, но надобности в этом уже не было. Поколотив друг друга и наговорив друг другу дерзостей, продолжали как ни в чем не бывало прерванный разговор.

Думая после об этой жестокой дружбе, Лукашов, казалось ему, начинал понимать, почему они, не умея обойтись друг без друга, друг друга постоянно шпыняли... Они были обречены на эту дружбу — иных близких товарищей ни у того, ни у другого не было.

Верховодил Ратмир. Пожалуй, был он умнее Алеши, но и злее его, нахрапистей. Любил о женщинах поговорить... Алеша смущенно похачивал, быстро и гордо взглядывал на Лукашова. Краска заливала его нежное лицо... Горбун победоносно откидывал свою большую голову. «Так-то, ребяташки-козлятушки», — снисходительно говорил он и, наверное, горбуном себя в эту минуту не чувствовал.

Бок о бок промаявшись много лет в детдоме для детей, больных костным туберкулезом, они избегали своих здоровых сверстников и лишь для Лукашова делали исключение. Почему? Оба были старше его, но из-за болезни дважды оставались на второй год, и теперь все трое учились в одном классе. У всех троих погибли на фронте отцы, — может быть, это сближало? С изнуряющим напряжением тянули матери вдовы свои лямки: голодные послевоенные годы. У тети Нюры, кроме Алеши, было еще двое, и она лишь недавно сумела забрать из детдома старшего сына. Пенсии и зарплаты уборщицы не хватало; приходилось стирать белье людям. У Ратмира тоже был кто-то — кажется, сестры, но Лукашов ни разу не видел их: Ратмир жил в нескольких кварталах от них, на Петровской балке. Дома он лишь ночевал — все остальное время торчал у Алеши. Делали уроки, спорили, тузили друг друга, а вечерами ходили в городской сквер, где под облезлыми грибами собирались любители домино — «болели». И так изо дня в день, из месяца в месяц, много лет. Когда, уже студентом, Лукашов приехал в Светополь на каникулы, Ратмира и Алешу встретил под теми же грибами, но уже в ином качестве: не болельщиков, а игроков. Оба недавно перенесли обострение болезни, оба готовились к очередным операциям — столь же безуспешным, по-видимому, как и предыдущие.

Ратмир вышагивал все так же целеустремленно, и все так же раскачивалась из стороны его гордо откинута голова. Алеша тяжело опирался на палку. Они по-прежнему бурно спорили, но до руко-

пашной не доходило — повзрослели. О женщинах Ратмир говорил лихо, но теперь уже Алеша не краснел от его слов, а лишь насмешливо гмыкал.

Лукашов отмалчивался. У него было ощущение, что сам он вырос, возмужал, а они со своей бессильной дружбой-враждой, с неистребимой страстью к домино и жестокой болезнью, с затаенной обидой на мир, который отнесся к ним так несправедливо, навечно застряли в несытом послевоенном детстве. Ему было неуютно с ними. Неловкость испытывал он за свое здоровое тело и удачливую, так много сулящую ему жизнь; в детстве такого не было. И тогда-то, наверное, впервые явилось ему это воспоминание, которое после уже не покидало его. Не преследовало, не терзало изо дня в день, но вдруг, навсегда, казалось, похороненное в памяти, вспыхивало, и деться от этого было некуда. Он видел себя, по-воровски затаившегося у окна с ситцевыми занавесками, видел забор, слепленный из ржавых спинок, поредевший жасмин и красные осенние листья крученого паныча, а за всем этим — две уродливые фигуры, неотвратимо приближающиеся к парадному.

Стучал Ратмир — громко и нагло, барабанил. Не дожидаясь ответа, толкал дверь — знали, что Лукашов один: мать на неделю срочно уехала к своей одинокой сестре, которой сделали операцию.

Хозяйствовал Лукашов сам. Мать оставила денег из расчета рубль в день, десять по-тогдашнему, и немного продуктов. Раз в сутки, по пути из школы, заходил в столовую, деловито выбирал что подешевле, но калорийное (это мать так наказывала — «калорийное»: не компот, например, а молоко, не котлеты, в которых хлеб, а сардельку или рыбу). Завтракал и ужинал дома. Коронным блюдом была жареная картошка. Неправдоподобно, но она получалась у него лучше, чем у матери. Или так казалось ему, поскольку готовил сам? Чистил медленно, но очень аккуратно, стараясь потоньше срезать кожуру: картошки в тазу под кухонным столом оставалось не так уж много. Тщательно мыл в двух водах, нарезал тонкими ломтиками и жменями вываливал на раскаленную сковородку. Картошка звонко шипела. Глотая слюну, осторожно помешивал румянящиеся дольки.

Но вот все готово, он медлит в предвкушении вкусной еды, режет хлеб, и в этот момент — бесцеремонный стук в дверь. Не успевает ответить, как на пороге возникают двое; Ратмир — первый. Не позже, не раньше, а тютелька в тютельку — будто на расстоянии чуяли аппетитный запах. Достав еще две вилки, Лукашов ставил сковороду посреди стола. Оба бормотали что-то, отказываясь, но в глаза ему не смотрели, неуклюже топтались и при всем своем внешнем различии становились вдруг фантастично друг на друга похожи; горбатый Ратмир, казалось, начинал хромать, а у Алеши вырастал горб.

Неуверенны и косноязычны были их целомудренные отказы: бо-ялся — вдруг поверит, что они и впрямь сыты. Какое же трудное было время, ужасался теперь Лукашов, если из-за ничтожной картошки разы-

грывался такой спектакль — с недомолвками, с психологическими нюансами. И кем! — подростками, детьми. Моему сыну, думал Лукашов, это не понять. И слава богу!

Первым уступал Ратмир. Подпрыгивал, усаживался на высокий для него стул. Алеша по инерции бормотал что-то, но уже совсем невнятно, тоже садился, и нежное лицо его розовело, как в минуты, когда горбун разглагольствовал о женщинах. Ратмир ерзал и раскачивался на стуле, норовя придвинуть его к столу, а лицо оставалось независимым и гордым. Смеялся, небрежно рассуждал о чем-то. Наконец брал вилку, и тогда Алеша тоже брал, но раньше — никогда.

Ели все трое нежадно, неторопливо, без видимого аппетита — как бы между прочим. С интересом говорили о чем-то, вилками же работали будто по рассеянности, даже будто не замечая этого. И тем не менее с самого начала устанавливалась очередность, которую и гости, и хозяин блюли свято. Никто не осмеливался тыкнуть вилкой два раза подряд. Брал хозяин, потом — гости и жевали, медлили до тех пор, пока он снова не брал. Цикл этот повторялся с непоколебимой последовательностью, а разговор бежал себе — умный, легкий разговор трех увлеченных беседой мужчин. Друзья по детдому не схлестывались, как обычно, чинно соглашались друг с другом, иногда возражали, но не грубили, нет. Пустяками выглядели теперь все их принципиальные разногласия.

Большая и голая запрокинутая голова Ратмира едва возвышалась над столом, Алеша же сидел далеко, на краешке стула, как-то боком — по-птичьи. Вытянутая в сторону, неподвижно лежала больная нога в ортопедическом ботинке. Картошку он не выбирал, как Ратмир, чье лицо было почти на уровне сковороды, а подцеплял что придется, не глядя, и, случалось, совал в рот пустую вилку, но вторично не лез — смиренно ждал своей очереди.

Когда сковорода опорожнялась примерно на две трети, оба дисциплинированно клали вилки: спасибо, хватит, наелись, и лишь еще поломавшись, снова принимались за еду. Лукашов играл роль учтивого хозяина, они — роль учтивых гостей, и так до тех пор, пока в сковороде не оставалось ни крошки. Масло вылизывали хлебным мякишем. Умная беседа на этом прекращалась. Бывшие детдомовцы опять с воодушевлением нападали друг на друга. Лукашов говорил о радиотехнике и демонстрировал свой детекторный приемник. К вечеру у него всюю разыгрывался неутоленный голод. Он отрезал ломоть хлеба и ел, окуная его в присоленное подсолнечное масло. Это был его ужин.

При всей бережливой осмотрительности двенадцатилетнего хозяина рассчитанные на неделю деньги таинственно растеклись раньше, и теперь он трудно тянул на скудных домашних запасах. Едва ли не с утра мечтал об очередном картофельном пиршестве, но минуту эту мужественно оттягивал, а когда наконец она наступала (всякий раз в разное время!) и он уже готов был снять крышку со сковороды, раздавался

барабанный стук, дверь распахивалась — и на пороге возникали *они*. Поразительная точность! Или интуиция голодных людей так безошибочно гнала их сюда?

Еще сутки предстояло жить до приезда матери, а в доме, кроме четвертушки хлеба, нескольких картофелин да мутных осадков масла на дне бутылки, не осталось ничего. В шкафу хранилась, правда, початая банка малинового варенья, но мать строго-настрого запретила прикасаться к нему: это было лекарство на случай простуды. Дождь, ветер, снег — почти все равно надо разносить, и мать, прогнозируя, пила на ночь обжигающий чай с малиной. Сын решил, что позволительно взять ложечку варенья. Сладкое, знал он, перебивает аппетит.

Бережно счищал он тупым ножом кожуру с оставшихся картофелин. Вчера и позавчера жарил чуть больше, чем позволяли запасы (не то что рассчитывал на *них*, но предчувствовал: придут ведь, придут!), и теперь осталось лишь на полсковороды. А тут еще одна картофелина, с виду крепкая, оказалась гнилая внутри — отошла почти целиком. Резал мелко — мельче, чем всегда. Когда сыпанул, мокрую, на сковородку, зашипело так громко, что он испуганно замер. На весь двор слышать, почудилось ему. Беря очередную жменью, тщательно стряхивал над миской воду. Вот-вот, ждал он, в дверь забарабанят и, не дожидаясь ответа, распахнут дверь.

Масло из скользкой бутылки лил аккуратно: вдруг не все уйдет, останется? Вероятно, слишком аккуратно — картошка подгорала, и этот запах был приятен ему. Сегодня он не обедал — лишь съел в школе буллик да два яблока, которыми угостили мальчишки. На перемене они подстерегли грузовик в тесном переулке, подцепились и на ходу наполнили пазухи.

Что-то бухнуло на улице, он вздрогнул, нож в руке звякнул о сковородку. Повернув голову, глядел скошенными глазами на дверь. Стучали ходики.

Убеждая себя, что необходимо попробовать, подцепил ножом огненный ломтик. Разинул, как рыба, рот, глаза выпучил. Картошка была сыроватой, но ее уже подраспарило, и он жадно протолкнул ее внутрь.

Лукашов удивлялся. Сколько лет прошло? — семнадцать, восемнадцать? — а он помнит все так точно и осязаемо. Себя видит: двенадцатилетний мальчуган, колдующий, как скупой рыцарь, — и над чем, над картошкой! Сын не поверит, если рассказать. Не мороженое, не красная икра, не конфеты «Мишка на Севере» — картошка!

Он вылил остатки масла, подержал бутылку над сковородкой и накрыл крышкой. От масла руки были скользкими. Он тщательно вытирал их вафельным полотенцем, которое за неделю — без матери — стало черным, а сам настороженно прислушивался.

Положив полотенце, тихо подошел к окну. Занавески не отодви-

нул — сквозь щель в них глядел на залитый осенним солнцем пустой двор. Он знал уже, что сделает сейчас, но все не решался. Теперь, спустя много лет, это отчасти успокаивало: не сразу ведь! Не сразу, да, но, с другой стороны, все, выходит, понимал, а не сослепу, не горяча...

Тошная соседская кошка грелась на замшелых бревнах. Казалось, она дремлет, но облезлые уши дежурили: вдруг позовет кто? Кличку ее Лукашов забыл, но перед глазами стояло, с каким остервенением бросалась она, мурлыча, на хлеб. Теперешние коты, невесело сравнивал он, даже колбасу едят с большим достоинством.

Сковорода была плотно закрыта, но запах картошки успел разрастись во всю квартиру. Кошка повела ушами. Неужто и она слышит? Лукашов на цыпочках прошел в сени. Мгновенье стоял там, не дыша, затем прижал плечом дверь, дрожащей рукой бесшумно задвинул щеколду.

И теперь отчетливо видит он их тесные сени. Ведро с водой, накрытое фанерой, и стеклянная банка на ней, рукомойник без крышки, моток веревки, на которую мать вешала во дворе белье и которой однажды отстегала его. Себя видит — худого, как та кошка, голодного пацана в курточке, перешитой из гимнастерки отца.

Все так же на цыпочках вернулся в кухню, открыл сковороду. В лицо ударил пар и горячий вкусный запах. Помешав и попробовав, снова накрыл, но плитку выключил: мать наказывала экономить электроэнергию.

Ждать теперь оставалось недолго. Он подкрался к окну и тотчас отпрянул. Они! Тяжелая голова Ратмира раскачивалась в такт шагам, Алеша, балансируя, вскидывал руки. Как всегда, они пылко спорили о чем-то — на этот раз Лукашов так и не узнал о чем. Бух-бух-бух — стучало сердце. На всякий случай он отступил от окна еще на шаг. До крыльца оставалось рукой подать, но это короткое расстояние они преодолевали, казалось ему, очень долго. С напряжением ждал он знакомого стука — вот сейчас, сейчас, а когда раздалось, вздрогнул всем телом. Как нестерпимо пахло картошкой!

В дверь толкнулись, пытаясь открыть ее, затем снова забарабанили, снова толкнулись, и все замерло. Но они не уходили. Он различил их слабые голоса. А вдруг, мелькнуло у него, они сообразят, что заперто изнутри, и останутся ждать? Но теперь уже открывать было поздно — поймут все. Он не шевелился. Его плотно обступал густой, отвратительный картофельный дух.

Они еще бухнули в дверь, но уже без надежды, от отчаянья, и он с облегчением увидел, что они уходят. Оба молчали. Ветер раскачивал ветки жасмина, срывал с акации последние желтые листья и нес их, они золотились на солнце, как стершиеся монеты.

Сколько лет прошло? — семнадцать? восемнадцать? — но картина эта не померкла в памяти Лукашова. Не преследовала, не терзала из

дня в день, иногда подолгу не являлась ему, но когда ему было хорошо, когда его любили и хвалили и все ладилось у него, когда он, счастливый, любил весь мир и себя в этом мире, — именно в эти редкие минуты в памяти подло возникали двор под осенним солнцем, ветки жасмина, забор, собранный из спинок кроватей, а за ним — два безмолвно шествующих подростка: карлик с болтающейся головой и долговязый хромоножка. Лукашов знал: двадцать лет пройдет, тридцать, сорок, много добрых дел сделает он в жизни (или не сделает), умрут Ратмир и Алеша, а те двое будут все так же ковылять под его окном и никогда не минуют его, как никогда не достигнут земли те давно сгнившие, похожие на монетки листья.

СОДЕРЖАНИЕ

Год лебедей	3
Пожарник Афродита	22
Шишига	34
Картошка	40

КИРЕЕВ Руслан Тимофеевич

ГОД ЛЕБЕДЕЙ

Рассказы

Редактор М. М. Ж и г а л о в а

Технический редактор Т. Я. К о в ы н ч е н к о в а

Сдано в набор 12.01.89. Подписано к печати 10.03.89. А 04410. Формат 70 × 108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,17. Тираж 150 000 экз. Зак. № 45. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Уважаемые товарищи!

Предлагаем Вам современный вид страхования — АВТО-КОМБИ!

● По договору страхования «авто-комби» одновременно считаются застрахованными:
— автомобиль (в размере действительной стоимости);

— багаж — вещи и дополнительное оборудование автомобиля (на сумму 500 рублей);

— водитель и страхователь на сумму 1000 рублей каждый.

● По страхованию «авто-комби» Госстрах возмещает ущерб, причиненный в результате аварии, пожара, стихийных бедствий, похищения (угона) автомобиля, в случае кражи отдельных его частей, деталей или предметов багажа, а также ущерб за любые повреждения, вызванные преднамеренными или неосторожными действиями третьих лиц.

● Подробнее ознакомиться с условиями страхования и оформить договор можно у страхового агента или в инспекции Госстраха.

Госстрах РСФСР